

Александр ДЮМА

Могикане
Парижа



Александр Дюма
Могикане Парижа

Издательство «РИМИС»

1855

Дюма А.

Могикане Парижа / А. Дюма — Издательство «РИМИС», 1855

Сюжетная линия произведения разворачивается во времена правления короля Карла X, борьбы с бонапартизмом. Дюма подробно описывает любовные и политические интриги, жертвами которых оказываются главные герои книги – поэт Жан Робер, врач Людовик и художник Петрюс. Разные устремления ведут их по жизни, но их объединяют верность друг другу, готовность прийти на помощь попавшему в беду. Рассказывающий о событиях, далеких от наших дней, роман «Могикане Парижа», как и все произведения высокой литературы, нисколько не потерял своей актуальности. Он неопровержимо свидетельствует, что истинные человеческие ценности всегда сохраняют свое значение.

© Дюма А., 1855

© Издательство «РИМИС», 1855

Содержание

Часть I	6
I. Автор поднимает занавес над сценой, на которой будет происходить действие	6
II. Джентльмены рынка	10
III. Тапи-франк	14
IV. Жан Бык	18
V. Драка	22
VI. Господин Сальватор	26
VII. Жан Бык отступает, а толпа следует за ним	29
VIII. Пока Людовик и Петрюс спали	33
IX. Два друга Сальватора	36
X. Беседа поэта с собакой	40
XI. Душа и тело	44
XII. Во дворе аптекаря	48
XIII. Ученик и его учитель	52
XIV. Школа выживания	55
XV. Домашняя жизнь школьного учителя	59
XVI. Музыкант	62
XVII. Ниспосланная Богом	66
XVIII. Приходской священник	73
XIX. Покорность провидению	76
XX. Прямая короче ломаной	79
XXI. Рождественская роза	82
XXII. Зловещий ворон	87
XXIII. Почему карты всегда говорят правду?	91
XXIV. Господин Жакаль	94
XXV. Ищите женщину!	97
Часть II	100
I. Ближний сосед лучше дальней родни	100
II. Фра Доминико Сарранти	105
III. Симфония роз и весны	109
IV. Могила де ла Вальер	112
V. Коломбо	117
VI. Камилл	122
VII. История княгини де Ванвр	126
VIII. Дуб и тростник	131
IX. Жемчужина Парижа	139
Конец ознакомительного фрагмента.	144

Александр Дюма Могикане Парижа

© Издательство «РИМИС», издание, оформление, 2012

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Часть I

I. Автор поднимает занавес над сценой, на которой будет происходить действие



Если читатель захочет возвратиться вместе со мной во времена моей молодости, ровно на двадцать пять лет тому назад, то мы окажемся с ним в 1827 году, и он сможет узнать, что представлял собой Париж физически и нравственно в последние годы Реставрации.

Начнем с наружного вида современного Вавилона.

С востока, юга и запада город выглядел в 1827 году так же, как и теперь. Его левобережная часть была тоже неизменна и скорее вымирала, чем заселялась, так как вопреки путям цивилизации, направляющейся с востока на запад, Париж возрастает с юга на север, — Монтрюж поглощает Монмартр. Капитальные строительные работы, проведенные с 1827 по 1854 г. на левом берегу, были не столь значительны: площадь и фонтан Кювье, улица Гюи-Лабросс, улица Жюссье, улица Политехнической школы, улица Бонапарта, вокзал Орлеанской железной дороги, вокзал Менской заставы и, наконец, церковь Св. Клотильды, высящаяся на

площади Белль Шасс, дворец Государственного совета на набережной Орсе и здание министерства иностранных дел на набережной Инвалидов.

Совершенно иначе шло дело на правом берегу, т. е. в пространстве между Аустерлицким и Иенским мостами, у подножия Монмартра. В 1827 году Париж простирался, собственно говоря, только до Бастилии, так что всего бульвара Бомарше еще не существовало; на севере он доходил до улиц Тур д'Овернь и Тур-де-Дам, а на западе – до бойни Руль и аллеи де-Вев.

Но о квартале Сент-Антуанского предместья, идущего от площади Бастилии до заставы Трона, о квартале Попенкур, идущем от Сент-Антуанского предместья до улицы Мениль-Монтан, о предместье Сен-Мартен, о кварталах Лафайет, Бреда, Тиволи, Европейской площади, Божон, об улицах Милан, Мадрид, Шанталь, Бурсо, Лаваль, Лондон, Амстердам, Константинополь, Берлин и т. д., и т. д. – не было тогда еще и помину. Волшебный жезл богини, называемой Индустрией, точно из-под земли, вызывал улицы, кварталы, скверы, предместья, которые обратились как бы в почетную свиту князей торговли, называемых железными дорогами: Лионской, Брюссельской, Страсбургской и Гаврской.

Окинув взором тогдашний Париж с его физической стороны, взглянем теперь на нравственную.

На престоле уже два года сидел Карл X. В совете уже пять лет председательствовал де Виллель; Делава уже три года как сменил Англе, сильно скомпрометированного в деле Мобрелль.

Король Карл X был человек добрый, религиозный, со слабым сердцем и честный. Вокруг него спокойно развивались две партии, которым предстояло, желая под держать, довести его до падения. То были партия ультра и партия-претр.

Де Виллель был скорее человеком коммерческим, чем политическим, и прекрасно распорядился только общественными капиталами и ничем больше. Но сам по себе он был безукоризненно честен и, несколько лет имея дело с миллиардами, вышел в отставку таким же бедняком, каким и поступил на свое важное место.

Делава был человек ничтожный, вполне преданный не самому королю, но партиям, которые вокруг него волновались. От подчиненных своих он требовал больше всего какой-то внешней набожности и даже в мушары при нем нельзя было поступить, не представив свидетельства о том, что был на исповеди, по крайней мере, недели за две перед тем.

Двор был печален, и единственным источником веселости являлись в нем молодость, утонченные вкусы и потребность в развлечениях герцогини Беррийской.

Аристократия делилась на партии и жила тревожно. Одна часть ее держалась умеренно-либеральных воззрений Людовика XVII и была того мнения, что вся прочность и спокойствие будущего должны основываться на разделении власти между тремя главными силами страны: между королем, палатой пэров и палатой народных представителей. Другая же часть сильно отодвигала надзор и силилась связать 1827 год с 1788-м, отрицала революцию, отрицала Наполеона и находила, что не нуждается ни в каких иных опорах, кроме тех, которыми пользовались ее предок Людовик IX и его потомок Людовик XIV, т. е. правами милостью Божьей.

Буржуазия была тем же, чем она бывает всегда. Она любила порядок и мир, желала перемен и в то же время боялась, что они произойдут, выступала против национальной гвардии и тягости этой повинности, а в 1828 году, когда она была уничтожена, пришла от этого в бешенство. Вообще, она следовала за генералом Фуа, брала сторону и Григория, и Мануила, подписывалась под изданиями Туке и миллионами раскупала табакерки с хартией.

Народ составлял явную оппозицию, хотя и не зная несомненно, что лучше – бонапартизм или республиканство. Он знал только, что Бурбоны, возвратясь во Францию, заполонили ее англичанами, австрийцами и казаками. Ненавидя англичан, австрийцев и казаков, он, естественно, ненавидел и Бурбонов и только выжидал удобного случая от них отделаться. Каждый

новый заговор он встречал с восторгом и криками одобрения. Дидье, Бертон, Карре были, по его мнению, мучениками, а четыре Рошельских сержанта – богами.

После краткого обозрения трех ступеней общественной лестницы – аристократии, буржуазии и народа, – заглянем теперь на дно общества, едва освещенного тусклыми фонарями улицы Иерусалима.

Стоял вторник Масленицы 1827 года.

Маскарадов не бывало уже два года. Все экипажи, в два ряда тянувшиеся вдоль бульваров и нагруженные участниками карнавала в костюмах базарных торговцев и шутов, которые приостанавливались и перекликались при каждой встрече, принадлежали частным лицам.

Некоторые из этих потешных колесниц составляли собственность премилого молодого человека, по фамилии Лобаттио, которому года через два-три предстояло ехать умирать от чахотки в Пизе. Но в 1827 году он был в Париже и делал все на свете, чтобы толпа знала и помнила, что этот огромный маскарад с трубачами, всадниками и экипажами принадлежит именно ему. Но толпа и на этот раз была толпой, – не хотела знать его имени и упорно продолжала думать, что обязана всей этой веселой забавой лорду Сеймуру.

Самыми модными кабаками в то время были Ла-Куртиль, Денуайе, залы Флоры и Тоннелье у заставы Мен.

Танцевальных залов было тоже не мало. Больше всего отличался Шомьер, содержавшийся Лагиром. В нем танцевали два ныне уже исчезнувших типа – студенты и гризетки. Заменившие их артуры и лоретки были в то время еще неизвестны. За Шомьер следовали зал Прадо, сиявший своими огнями против Пале-де-Жостис, Колизей, весело шумевший позади Шато д'О, Порт-Сен-Мартен и Франкони, в которых наравне с Оперой бывали маскарады.

Разумеется, что об Опере мы упоминаем лишь для памяти, так как в Опере не танцевали, а дамы в домино и кавалеры в черном только прохаживались и вели между собой более или менее интересные разговоры.

В залах же Денуайе, Флоры, Соваж, Тоннелье, Шомьер, Прадо, Колизея, Порт-Сен-Мартен и Франкони, хотя тоже не танцевали, но шахютировали.

Этот «шахю» представлял безобразную пляску, бывшую по сравнению с канканом тем же, что махорка по сравнению с гаванской сигарой.

Еще ниже всех этих перечисленных мест, объединивших в себе все степени увеселения, начиная с театра и кончая кабаком, были заведения, называвшиеся в то время в Париже «тапи-франками».

Их существовало семь: в Ситэ на улице Старых Занавесок находилась «Черная кошка», против гимназии – «Белый кролик», на улице Бонди – «Семь билли ардов», на улице Сент-Оноре, против Сиветт, – «Отель д'Англетер», на Железной улице – «Поль Нике», на той же улице – «Баратт». Наконец, на углу улиц Обри-де-Буше и Сен-Дени размещался «Бордье».

Два из них имели свои особенности.

В «Черной кошке» собирались замочники, а в «Белом кролике» – извозчики.

Не станем утомлять читателя выражениями, созданными обитателями Биссетра и Консьержери, и поспешим объяснить те из них, которые были употреблены нами в силу необходимости.

Постараемся с самого начала отделаться от этих выражений и дадим им самые обстоятельные объяснения.

«Замочниками» называются воры, работающие с по мощью подбираемых ключей.

«Карманники» вытаскивают из карманов кошельки и носовые платки.

«Меняльщики» входят в лавки менял под видом нумизматов и под тем предлогом, что отыскивают монеты с изображением известных государей, чеканки такого-то года, искусно запикивают себе за обшлага еще штук пятьдесят.

«Давильщиками» назывались те воры, которые набрасывали на шею своей жертвы платок или веревочную петлю, придавливали ее и поддерживали на своих плечах, пока практиковавшие вместе с ними «очищатели» обыски вали ее карманы.

Наконец, «потемщики» воровали по ночам, залезая в окна с помощью веревочных лестниц.

Остальные пять «тапи-франков» были просто притонами воров всех сортов и специальностей.

Для надзора за всеми этими каторжниками, мошенниками, ворами и девками существовало только шесть инспекторов и один офицер на каждый округ; современные же постовые полицейские были заведены там только Бельвейлем в 1828 году.

Все задержанные этим полицейским персоналом отводились в зал Сен-Мартен и там, получив комнату, платили по шестнадцать су за первую ночь, а за остальные – всего лишь по десяти.

Отсюда по истечении законного срока мужчин препровождали в Ла-Форс или в Биссетр, девиц сомнительного поведения – в Маделонетт на улице Тампль, а во ровок – в Сен-Лазар, в предместье Сен-Дени.

Казни производились на Гревской площади.

«Мосье де-Пари» жил на улице Маре, дом № 43.

Само собой разумеется, что теперь читатель вправе спросить:

– Если полиция так хорошо знала, где жили и пьянствовали воры и мошенники, то почему же она не хватала их?

Но полиция может арестовать преступников только с поличным. Закон высказывается в этом отношении очень ясно, и все воры отлично знают это.

Если бы полиции дано было право действовать иначе, то есть хватать мошенников и не на самом месте преступления, и без неопровержимых улик, так как она обыкновенно знает их всех наперечет, то, вероятно, в несколько дней совершенно очистила бы от них город или, по крайней мере, их осталось бы так мало, что обыватели почти не страдали бы от их зловредной деятельности.

В настоящее время этих «тапи-франков» больше уже не существует. Одни из них исчезли во время сноса домов при реконструкции Парижа, другие закрылись и угасли сами собою.

«Бордье» существовал дольше всех остальных; тапи-франк преобразился в красивую бакалейную лавку, в которой продают сушеные фрукты, варенье, ликеры и где нет и помину о той омерзительной грязи, в которую нам предстоит ввести читателя, перенося его в 1827 год.

II. Джентльмены рынка

Мы уже упоминали о том, что первые страницы нашего рассказа относятся ко вторнику Масленицы 1827 года.

Этот день народного веселья клонился уже к самому концу, наступала полночь.

Трое молодых людей, держась под руки, шли вниз по улице Сен-Дени. Двое из них напевали самые популярные места из кадрили, которую только что слышали в Колизее, где провели начало ночи, а третий задумчиво грыз золотой набалдашник своей трости.

Двое распевавших были костюмированы в одежды шутов.

Третий, который не пел, был старше, серьезнее и на целую голову выше своих товарищей и кутался в плащ-накидку с бархатным воротником.

Он возвращался с артистического вечера, который проходил на улице Сент-Апполен.

Под плащом на нем были короткие и узкие панталоны, плотно обтягивавшие стройные и тонкие ноги, ажурные шелковые чулки и глянцевиные башмаки. Фрак его был застегнут по-военному, на все пуговицы, так что только через верхний и нижний разрезы виднелся белый пикейный жилет. На шее у него был свободный черный шелковый галстук, а на голове, кудрявой от природы – низенькая шляпа, которую, входя в зал, клали под мышку, а выходя на улицу, натягивали до самых ушей.

Если бы кто-нибудь из редких прохожих на улице Сен-Дени мог бы приподнять плащ молодого человека, то он тотчас же признал бы, что эти узкие панталоны, так плотно облегающие ноги, красивый фрак и жилет из английского пике с золотыми резными пуговицами из мастерской одного из известнейших портных на бульваре Ган и были заказаны одним из тех щеголей, которых тогда называли «дэнди», а теперь обозначают несколько устаревшим названием «львы».

Тем не менее, человек, одетый с таким изяществом, видимо, нимало не претендовал на прозвание «щеголя». И действительно, с одного внимательного взгляда на него можно было убедиться, что он не принадлежал к разряду людей светских. В движениях его было слишком много свободы в сравнении с манерами манекенов, которые держатся в вечном рабстве у складок своего галстука или все повороты головы приурочивают к покрою своего воротничка. Только что выйдя из бального зала, он поспешил снять перчатки, которые надоели ему, и при этом на указательном пальце его руки блеснул большой перстень, какие в старину употребляли вместо печати, для чего вырезали на них какой-нибудь девиз, соответствующий личному вкусу, или герб своей фамилии.

Два других молодых человека составляли с этой байроновской фигурой резкую противоположность. На них были куртки из белого плюша с малиновыми воротниками, полосатые, белые с синим панталоны, белые шелковые чулки с золотыми стрелками и башмаки с бриллиантовыми пряжками. На плечах развевались плащи: на одном из желтого, на другом из красного кашемира, а вокруг косматых войлочных шляп вились гирлянды из белых и розовых камелий, из которых каждая в такое время года стояла у тогдашних молодых цветочниц, мадам Байон или мадам Прево, по крайней мере, по одному золотому эку. Со свежим румянцем молодости, с веселым блеском глаз и беззаботностью они казались олицетворениями истинно французского веселья.

Но что же свело этих троих, столь разных между собой людей, и куда шли они в такой поздний час по одной из пятидесяти грязных улиц, прорезавших Париж от бульвара Сен-Дени до Гревской набережной?

Этот вопрос объяснялся очень просто. Двое покинувших маскарад не нашли экипажа у подъезда Колизея, а с молодым человеком в темном плаще случилось то же самое на улице Сент-Апполен.

Два участника маскарада, уже достаточно разгоряченные пуншем и бишофом, решились зайти поужинать устрицами.

Молодой человек в темном плаще, удержавшийся в пределах благоразумия, благодаря нескольким стаканам оршада и смородинового сиропа, шел домой на Университетскую улицу.

Случайно они столкнулись на углу улиц Сент-Апполен и Сен-Дени. Молодые модники тотчас же узнали друга, который, вероятно, никак не узнал бы их в таких костюмах.

– Жан Робер! – крикнули они в один голос.

– Людовик! Петрюс! – ответил им молодой человек в темном плаще.

В 1827 году не говорили Луи или Пьер, а непременно Людовик или Петрюс.

Все трое радостно пожали руки, расспрашивая друг друга, что свело их на брусчатой мостовой в такой не урочный час.

Обе стороны обменялись объяснениями.

После этого художник Петрюс и медик Людовик стали так усердно настаивать, что убедили поэта Жана Робера идти с ними к Бордье есть устрицы.

Все трое шагали так быстро и твердо, что, казалось, не было ни малейшего сомнения в том, что решение было принято бесповоротно, однако, не доходя шагов двадцати до Батавского двора, Жан Робер остановился.

– Так решено? – спросил он. – Мы будем ужинать... А у кого?

– У Бордье.

– Ну, хорошо... хоть у Бордье.

– Разумеется, решено! – в один голос подхватили Людовик и Петрюс. – Что за вопрос?

– Вопрос очень основательный! – возразил Жан Робер. – Когда человек задумал сделать глупость, то для него всегда есть время остановиться.

– Глупость? Да какая же тут глупость?

– А такая, что вместо того, чтобы идти спокойно поужинать у братьев-провансальцев или Вери, или у Филиппа, вы придумали провести ночь в грязном кабаке, где нам дадут сандаловой настойки вместо бордоского и жареную кошку вместо кролика.

– Да что у тебя сегодня за ненависть к сандалу и кошкам, поэт? – спросил Людовик.

– Дело в том, мой милый, что Жан Робер только что имел большой успех во французском театре, – сказал Петрюс. – Он получает теперь по пятьсот франков каждый день, все его карманы набиты золотом, и он становится теперь аристократом.

– Уж не скажете ли вы, что собрались идти в кабак из экономии?

– Нет, – ответил Людовик, – а просто потому, что человеку следует знать и испытать всего понемножку.

– Пха! Какое мудрое изречение! – вскричал Жан Робер.

– Объявляю, что оделся в этот дурацкий костюм, в котором я точно мельник, только затем, чтобы поужинать сегодня вечером на рынке! – сказал Людовик. – Теперь я в ста шагах от моей цели и буду ужинать здесь или нигде.

– А! – вскричал Петрюс. – Ты говоришь теперь как истинный живодер! Больница и анатомический театр приучили тебя к самым ужасным зрелищам. Ты материалист и философ и закален против всяких неожиданностей. А я художник, и мне не всегда доводилось пить сандаловую настойку и есть жареных кошек. Я посещал больных обою пола, которые были совершенные трупы, а если и отличались от них, то только тем, что еще имели души. Я входил в клетки львов и спускался в берлоги к медведям, когда у меня не было трех франков, чтобы заставить подняться к себе отца Сатурнина или мадемуазель Родину Белокурую, – я, слава богу, не взыскателен! Но вот этот чувствительный поэт, этот наследник Байрона и продолжатель Гёте, этот юноша по имени Жан Робер, какой вид будет он иметь среди ужасов, в которые мы его ведем? Разве со своими маленькими ручками, ножками и со своим прелестным креольским акцентом он может иметь хотя бы малейшее представление о том, как следует вести

себя в обществе, которому мы собираемся его представить? Разве он, никогда не умевший во время своей службы в национальной гвардии ступить левой ногой вперед, разве он какой-нибудь тапи-франк? Разве нежные уши его, привыкшие к благородным звукам «Молодого больного» Мильвуа и «Молодой узницы» Андре Шенье, способны слушать свободные остроты, которыми обмениваются джентльмены ночи, посещающие такие заведения? Нет! Разумеется, нет! В таком случае, что же станет он делать среди нас? Мы не знаем его! Что это за незнакомец, который станет принимать участие в наших пирушках? *Vade retro*, Жан Робер!

– Милейший Петрюс, – ответил молодой человек, ставший предметом спора, тон и красноречие которого, бывшие в ходу у тогдашней молодежи, мы постарались сохранить, – ты пьян только наполовину, но гасконец – до мозга костей!

– А! Отлично! Я родом из Сен-Ло! Значит, если в Сен-Ло есть гасконцы, то нормандцы есть в Тарбе!

– Хорошо, пусть и ты будешь гасконцем из Сен-Ло! Ведь ты хвастаешься пороками, которых в тебе нет, чтобы скрыть добродетели, которые у тебя есть. Ты представляешься кутилой, чтобы не казаться наивным; ты прикидываешься повесой и бездельником потому, что тебе стыдно быть добродетельным. Ты никогда не входил в клетку ко львам и никогда не лазал в берлоги к медведям, как не бывал и в кабаках на рынке; точно так же, как и Людовик, и я, и все уважающие себя молодые люди, и даже все ремесленники, серьезно и честно занимающиеся своим делом.

– Аминь! – закончил Петрюс, зевая.

– Зевай, насмехайся, сколько тебе угодно, изображай всевозможные пороки, чтобы поразить сограждан, так как ты слышал, что все великие люди имели свои пороки, что Андреа дель Сарто был вор, а Рембрандт – обжора; ломай из себя буржуа, потому что ломаться и позировать в твоей натуре; но перед нами, людьми, которые тебя знают и знают как человека хорошего, да передо мною, который любит тебя как брата младшего, – оставайся тем, что ты есть на самом деле, – оставайся добрым, наивным, откровенным и увлекающимся Петрюсом. Слушай, милый, если когда-нибудь позволительно отуманивать себя развратом, – хотя, по-моему, это никогда не позволительно, то для этого надо быть изгнанным, как Данте, непризнанным, как Макиавелли, или отверженным, как Байрон. А был ли ты, юноша, хотя бы в одном из этих положений? Вправе ли ты смотреть на жизнь мрачно? Таяли ли в твоих руках миллионы, оставляя после себя единственным следом людскую наблюдательность и разочарование? Ты молод, картины твои покупаются, твоя любовница тебя любит, правительство заказало тебе «Смерть Сократа», – не подлежит сомнению, что я буду позировать в роли Алкивиада, а Людовик в роли Федона... Какого же черта хочешь ты еще?.. Поужинать в тапи-франке? Поужинаем, мой милый! Это будет, по крайней мере, дело с результатом, – эти кабаки покажутся тебе до того отвратительными, что ты на всю жизнь не захочешь больше заглядывать в них.

– Кончил ты проповедь, человек в черном одеянии? – спросил Петрюс.

– Да, почти кончил.

– Ну, так пойдем дальше.

Юноша быстро зашагал вперед, напевая полувакхическую, полуциничную песню и, видимо, стараясь убедить самого себя, что дружеский урок, который преподнес ему Жан Робер, не произвел на него ни малейшего впечатления.

Когда он допевал последний куплет, они были уже среди рынка. На башне церкви св. Евстахия пробило полночь.

– А! – вскричал Людовик, который вообще мало принимал участия в разговорах друзей и покорно шел туда, куда его вели, держась того мнения, что куда бы ни попал человек, он всюду найдет материал для наблюдения и размышления. – Теперь нужно выбрать! Куда мы пойдем: к Полю Нике, к Барату или к Бордье?

– Мне рекомендовали Бордье! Пойдем к Бордье! – сказал Петрюс.

– Хорошо! К Бордые так к Бордые! – согласился Жан Робер.

– Но, может быть, тебя тянет в какое-нибудь другое место, добродетельный питомец муз?

– О, для меня это решительно все равно. Ведь ты знаешь, что я даже не бывал никогда во всем этом квартале. Покормят нас здесь повсюду скверно, так не все ли мне равно, где именно.

– Ну, так вот мы и у пристани! Что, как тебе кажется, достаточно ли подслеповат этот кабак?

– Не то что подслеповат, а даже и совсем слепой.

– Тем лучше! Итак, идем.

Петрюс ловко нахлобучил свою шутовскую шапку на ухо и вошел в кабак с развязностью почтенного завсегдатая.

Друзья молча переступили за ним порог.

III. Тапи-франк

Кабак был буквально битком набит народом.

Нижний этаж, который едва ли можно было бы узнать, глядя на красивый магазин, заменивший его ныне, – состоял из низкого, закопченного зала, наполненного запахом сырости, водки и плохой кухни. Здесь собиралось несколько сотен мужчин и женщин в самых разнообразных костюмах, среди которых преобладали костюмы шутов и базарных торговков. Некоторые из женщин, и притом, надо заметить, самые хорошенькие и кокетливые, – одетые торговками, были декольтированы почти до поясов, рукава были у них засучены до плеч, но хрипlostью голосов и множеством ругательств они превосходили даже пределы, допустимые их шелковыми и кружевными костюмами. Это означало, что они перерядились не только в отношении общественного положения, но и в отношении пола. Но по странной фантазии карнавала, толпа мужчин, составляющих добрую треть всего собрания, именно их-то и окружала своим исключительным вниманием.

Все это сидело, стояло, лежало, хохотало, болтало, пело и кричало самыми резкими головами, и составляло какую-то пеструю и до того компактную массу, что разобрать что-нибудь в этом шуме и гаме не представляло никакой возможности.

В непроходимой толкотне, казалось, что мускулистые руки мужчин принадлежат женщинам, а свободно расставленные ноги женщин принадлежат мужчинам. Бородатая голова точно высилась над белоснежной шеей, а мускулистая грудь оказывалась под худенькой головкой пятнадцатилетней еврейки. Даже сам Петрюс, расставив все головы на принадлежащие им торсы, не мог бы разгадать, кому принадлежат все эти ноги, руки, локти, пальцы.

Тем не менее, и среди хаоса человеческих тел была одна группа, обращавшая на себя особое внимание. Она состояла из шута, который, казалось, спал, прислонясь к стене, и маленькой шутихи, которая, сидя у него на плече, прикрывала его голову своей коленкоровой юбкой, так что он казался гигантом с непомерно маленькой головкой. Мальчик, одетый обезьяной, в костюме, введенном в моду Мазюрье, то прыгал с одного стула на другой, то, перебегая от одного кружка к другому, заставлял богинь и богов карнавала издавать самые резкие и невеселые возгласы.

Троих друзей при их входе в залу встретили громоподобным «ура».

Шут, скрывавший голову под юбкой шутихи, выглянул оттуда и доказал этим, что он не гигант, а обыкновенный смертный.

Турок вздумал было поднять обе ноги сразу. Это кончилось тем, что сам он мгновенно полетел и изломал стол, на который упал.

Полишинель перестал кататься колесом и остановился, как звезда, готовящаяся пристать к комете.

Обезьяна одним прыжком очутилась на плечах Петрюса и при хохоте всей компании принялась отрывать украшения его шляпы.

– Сделай милость, уйдем отсюда! Меня просто тошнит, – сказал Жан Робер Петрюсу.

– Вот еще странная фантазия! Уходить, когда только что успели войти! – ответил художник. – Ведь они вообразят, что мы их боимся, и примутся гоняться за нами по улицам, как его величество король Карл X гоняется за кабанами в Компьенском лесу.

– А ты что думаешь? – спросил Жан Робер у Людовика.

– Думаю, что раз мы уже здесь, то нам следует идти до конца, – ответил тот.

– Однако послушай...

– На нас смотрят! – перебил Петрюс. – Ты ведь сам театрал и должен знать, что все зависит от дебюта.

Сказав это, он, все еще не сбрасывая со своих плеч обезьяны, подошел к роду кратера, образовавшегося от падения турка, который все еще лежал ногами кверху, и продолжил:

– Господин мусульманин, известно ли вам великое изречение патрона вашего Магомета бен Абдаллаха, племянника великого Абу Талеба, князя Меккского?

– Нет, неизвестно! – глухо ответил голос из глубины проломленного стола.

– Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе.

С этими словами Петрюс взял мальчугана, все еще сидевшего у него на плече, за шиворот, как щенка, и, хотя тот отбивался и визжал от боли, спокойно приподнял его над своей головой, как шляпу, и, кланяясь, проговорил:

– Привет тебе, почтенный мусульманин!

Он снова опустил обезьяну себе на плечо, но мальчик поспешно соскользнул на землю и со слезливой гримасой забился в уголок, в который не проникал свет трех или четырех ламп, освещавших зал.

Это доказательство веселости, остроумия и силы вызвало гром рукоплесканий.

Что касается турка, то тот ответил на привет, видимо, совершенно машинально, но зато довольно крепко вцепился в руку, которую протянул ему Петрюс, а художник одним взмахом выдернул его из проломленного стола и поставил на ноги, хотя они и представляли в эту минуту пьедестал слишком ничтожный для так сильно расшатанного монумента.

– Здесь действительно очень тесно, – заметил Петрюс, освобождаясь от турка. – Пойдем-ка наверх.

– Как хочешь, – согласился Людовик. – Хотя, по-моему, и здесь довольно интересно.

Гарсон, следивший за ними все это время в ожидании, что они попросят себе ужин, ловко подскочил к ним в ту же минуту.

– Вам угодно наверх? – спросил он.

– Да, не мешало бы.

– Так вот-с лестница, – показал он на узкую винтовую лесенку, при одном взгляде на которую невольно приходил на память подъем Матюрена Ренье в «Mauvais giste» – ступени были круты, и подъем очень труден.

Трое друзей не смутились от предстоящих трудностей и стали взбираться на лестницу под крик и хохот толпы, которая кричала и хохотала, сама не зная чему, а просто потому, что крики часто воодушевляют людей еще не пьяных и доводят до безобразия тех, кто только навеселе.

На втором этаже была такая же давка, как и внизу, такой же закопченный зал с продранными обоями и такие же красные занавеси с желтыми и зелеными разводами.

Но общество было здесь, по-видимому, еще ниже, чем в первом зале.

– Ого! – проговорил Жан Робер, который взобрался на лестницу первый и открыл дверь. – Кажется, ад у Бордье устроен наоборот, чем у Данте: чем выше поднимаешься, тем ниже падаешь.

– Ну, что ты на это скажешь? – спросил Петрюс.

– Скажу, что сначала это было просто отвратительно, а теперь становится даже интересно.

– Так пойдем выше! – решил Петрюс.

– Пойдем, – поддержал его Людовик.

И все трое стали взбираться на следующую лестницу, которая становилась все уже и круче.

На третьем этаже оказалось такое же сборище, почти такая же обстановка, и только потолок был не сколько ниже, да воздух еще душливее и зловоннее.

– Ну, что? – спросил Людовик.

– Что ты скажешь, Жан Робер? – обратился Петрюс к поэту.

– Полезем еще выше! – ответил тот.

На следующем этаже оказалось еще хуже, чем на двух предыдущих.

На столах и скамьях и под столами и скамьями валялось штук пять-десять человек, если создания, павшие до уровня животных, еще заслуживают названия человека. Тут были и мужчины, и женщины, и дети, уснувшие среди разбитых тарелок и недопитых бутылок.

Все мрачное пространство закоптелого зала освещалось единственной стеной лампой.

Можно было бы подумать, что стоишь в каком-то подземном склепе среди мертвых тел, если бы громкий храп не свидетельствовал о том, что эти мертвецы еще живы.

Жану Роберу делалось почти дурно; но он был человек с характером, и воля его не уступила бы даже и тогда, если бы разорвалось его собственное сердце.

Петрюс и Людовик переглянулись: оба были готовы поскорей уйти отсюда.

Но Жан Робер заметил, что отсюда лестница поднималась уже не винтом, а лепилась прямо вдоль стен, как это устраивается на мельницах. Он превозмог свое отвращение и стал взбираться по ней, приговаривая:

– Ну, пойдемте, пойдемте выше, господа, вы сами этого желали.

На пятом этаже он тоже первый открыл дверь.

Здесь декорация была та же, но сцена иная.

Вокруг стола сидело только пять человек. Перед ними лежали колбасные объедки и стояло около десятка бутылок.

Одеты эти люди были по-городски.

Употребляя это выражение, мы хотим сказать только, что они были не в карнавальных костюмах, а в своих ежедневных блузах и куртках.

Трое друзей остановились у двери. Гарсон, сопровождавший их по всем этажам, вошел вслед за ними.

Жан Робер огляделся и кивнул головой, как бы говоря:

– Вот это-то нам и нужно.

Жест этот вышел у него так выразительно, что Петрюс тотчас же подхватил его.

– Черт возьми, да мы расположимся здесь, как цари!

– Совершенно верно, – согласился Людовик. – Здесь у нас будет все, кроме воздуха для дыхания.

– Можно добыть и его, стóит только отпереть окно! – нашелся Петрюс.

– Где прикажете накрыть-с? – спросил гарсон.

– Вон там! – ответил Жан Робер, указывая на конец зала, противоположный тому, в котором сидело пятеро собутыльников.

Потолок был здесь так низок, что, входя, поневоле приходилось снимать шляпы, но Жан Робер, даже и снявши свою, все-таки касался головой штукатурки.

– Чего прикажете подать? – спросил гарсон.

– Шесть дюжин устриц, шесть бараньих котлет и омлет, – распорядился Петрюс.

– А бутылок сколько прикажете?

– Три шабли первого сорта и сельтерской воды, если таковая у вас водится.

При этих словах, звучавших здесь особенно аристократически, один из пятерых, ужи-навших у другого стола, оглянулся.

– Ого! – проговорил он. – Шабли первого сорта и сельтерской воды! Должно быть, какие-нибудь фертики!

– Наверно, сынки богачей-аристократов! – подхватил другой.

– Или сами лапы-загребалы! – добавил третий.

Все пятеро громко расхохотались.

В те времена еще не существовало современных нам романов, вроде «Воспоминаний Видока», посвящавших людей порядочного общества в выражения воровского жаргона, а

потому трое приятелей вовсе не догадались, что соседи приняли их за воров, и не обратили внимания на хохот, вызванный этим оскорблением.

Жан Робер снял плащ и положил его на один из стульев.

Гарсон, видя, что услуги его в зале больше не нужны, хотел было идти за ужином, как вдруг тот из пятерых, который заговорил первым, схватил его полу камзола.

– Ну, что? – спросил он.

– Как, ну, что? – удивился тот.

– Разве у тебя не спрашивали карт?

– Спрашивали, но их в такие часы не выдают, и вы это хорошо знаете.

– Это почему?

– Спросите у господина Делаво.

– Это кто ж такой?

– Господин префект полиции.

– А мне что до него за дело?

– Вам-то, может быть, до него дела и нет, а вот нам есть.

– Да что ж он может вам сделать?

– Велит закрыть заведение, а нам было бы горько не видеть таких гостей, как вы.

– А если здесь нельзя играть, так что же нам у вас делать?

– Мы вас и не задерживаем.

– Вот как! А знаешь, парень, ты, я вижу, не из вежливых. Я твоему хозяину скажу.

– Да говорите хоть самому папе, если вам нравится.

– И ты думаешь, что этим от нас и отделаешься?

– Да уж надо думать, что так оно и будет.

– А если нам это не понравится?

– Ну, тогда знаете, что вы сделаете? – ответил гарсон с издевательским хохотом, которым простолоудины всегда сопровождают свои шутки.

– Нет, не знаем. Что же?

– Вы возьмете карты...

– Ах, черт тебя возьми! Да, никак ты надо мной шутить вздумал? – загремел пьяница, вскакивая со своего места и ударяя по столу кулаком так сильно, что тарелки и бутылки подпрыгнули дюймов на шесть.

Но гарсон был уже на половине лестницы, и пьяница тяжело опустился снова на скамью, очевидно, обдумывая, на ком бы сорвать свою досаду.

– Кажется, этот болван забыл, что меня зовут Жаном Быком, – ворчал он, – забыл, что я одним кулаком убиваю быка. Надо ему об этом напомнить.

Он схватил со стола наполовину отпитую бутылку, приставил горлышко ко рту и в один прием опорожнил ее до дна.

– Ну, расходился наш Бык, – прошептал один из его собутыльников на ухо другому, – наперед знаю, что кому-нибудь да несдобровать!

– Да уж, наверно, достанется не кому другому, как этим франтикам! – ответил тот.

IV. Жан Бык

Человек, сам прозвавший себя Быком, что, впрочем, вполне соответствовало всей его фигуре, был действительно сильно не в духе и только выжидал случая излить свою досаду.

Случай этот скоро представился.

Читатель, вероятно, не забыл, что, войдя в залу, Людовик сделал замечание насчет бывшего там воздуха.

И действительно, пар от кушаний, запах вина, табачный дым, испарина пьяниц решительно не давали дышать. Можно было смело держать пари, что окна здесь не открывались с последней осени. Само собою разумеется, что друзья прежде всего направились к окнам, чтобы отпереть их.

Петрюс подошел первый, поднял за ремень нижнюю часть рамы и пристегнул ее к верхней.

Это дало Быку повод, которого он искал.

Он встал на стол и, обращаясь ко всем троим молодым людям, а к Петрюсу в особенности, громко проговорил:

– Кажется, вы открываете там окна, господа?

– Да, мой друг, как видишь, – ответил Петрюс.

– Я вам не друг! А окно вы закройте.

– Господин Жан Бык, – ответил Петрюс с насмешливой любезностью, – вот друг мой Людовик, считающийся отличным медиком, в две минуты поделится с вами сведениями о составе воздуха, которым можно дышать.

– Что он там о каких-то составах болтает?

– Он говорит, господин Жан Бык, – подхватил Людовик тоном той же вежливости, – что для того, чтобы атмосферный воздух не был вреден при вдыхании в человеческие легкие, он должен состоять из шестидесяти или семидесяти пяти частей азота, двадцати двух или трех кислорода...

– Да никак они с тобой по латыни разговаривают, Жан? – вмешался один из пятерки блузников.

– Хорошо же! Так я поговорю с ними по-французски!

– А коли они тебя не поймут?

– Чего не поймут, то вколотить можно.

И Жан Бык показал два кулака величиной с голову ребенка.

Несколько секунд он молча и грозно смотрел на своих противников, потом голосом, который навел бы страху на каждого простолюдина, повелительно крикнул:

– Ну, говорят же вам, закройте окошко, да поскорее!

– Может быть, вам этого, господин Жан Бык, и хочется, но я этого вовсе не желаю! – возразил Петрюс, спокойно скрещивая на груди руки, но не отходя от окна.

– Что? Ты этого не желаешь? Да разве ж ты можешь желать чего-нибудь?

– Отчего же? Каждый человек может иметь свои желания, если даже каждая скотина себе это нынче позволяет.

– Слышишь, Крючконогий, – проговорил Жан Бык, мрачно хмуря брови и обращаясь к своему товарищу, в котором можно было узнать тряпичника, – кажется, этот несчастный франтик назвал меня скотиной?

– Мне это тоже послышалось, – ответил тот.

– Ну, и что же мне остается после этого делать?

– Прежде всего запереть окно, потому что ты этого хотел, а потом поколотить его.

– Решено. Умные речи приятно и слышать.

Бык важно повернулся к приятелям и опять крикнул:

– Ну же! Запереть окно, вам говорят! Гром и молния!

– Грома и молнии нет, а окно запирать не следует! – спокойно ответил Петрюс, не изменяя положения.

Жан Бык так сильно и шумно потянул в себя воздух, казавшийся приятелям таким отвратительным, что действительно был в эту минуту похож на мычащего быка.

Робер видел, что затевается ссора, и хотел вступить, хотя и понимал, что прекратить ее теперь уже поздно. Однако, если кто и мог это сделать, то единственно он со своим неизменным хладнокровием.

Он очень спокойно подошел к Жану Быку и сказал:

– Послушайте, милостивый государь, мы только что пришли, а когда сюда войдешь с чистого воздуха, то действительно можно задохнуться.

– Еще бы! – подхватил Людовик, – здесь вместо воздуха остается только углекислота.

– Так позвольте же нам отпереть окно для того, что бы освежить воздух, а потом мы можем и запереть его.

– Да, а зачем вы отперли его, не спросив у меня?

– Ну, так что же? – спросил Петрюс.

– А то, что следовало спросить, так вам, может быть, и позволили бы.

– Однако, довольно! – вскричал Петрюс. – Я отпер окно потому, что мне это так понравилось, и запру его, когда мне вздумается.

– Молчи, Петрюс! – перебил его Жан Робер.

– Ну, уж нет! Молчать я не стану! Неужели ты думаешь, что я позволю учить себя таким чужакам?

При этих словах товарищи Жана тоже вскочили со своих мест и подошли ближе, видимо, готовясь ответить на оскорбление.

Судя по их физиономиям, они были заодно с Жаном Быком и не прочь закончить свою последнюю карнавальную ночь хорошей потасовкой.

По костюмам их нетрудно было разгадать и их профессии.

Тот, которого Жан Бык назвал Крючконогим, был, собственно говоря, не настоящий тряпичник, а только принадлежал к числу одной из разновидностей этого ремесла, называвшейся «грабителями» и состоявшей в том, что они рылись в городских клоаках своими крючьями и иногда находили там вещи довольно ценные.

Промысел этот прекратился лет сорок тому назад, отчасти постановлением полиции, отчасти вследствие замены деревянных тротуаров каменными. Прежде же эти грабители находили в уличных канавах кольца, серьги, драгоценные камни и тому подобные драгоценные предметы, попадавшие туда часто даже при встряхивании ковров и скатертей через окна.

Третьего пьяницу товарищи обыкновенно называли Известковым мешком, а пятна извести, испещрявшие не только платье, но и лицо, и руки его, явно свидетельствовали о его ремесле каменщика.

К числу первых, т. е. ближайших друзей его, принадлежал и Жан Бык. Случай, при котором они познакомиться, настолько характерен и так ярко очерчивает силу человека, которому предстоит играть довольно видную роль в нашем рассказе, что мы находим уместным рассказать и его.

В Ситэ загорелся один дом. Лестница уже обвалилась. Наверху, у окна второго этажа, стояли мужчина, женщина и ребенок и громко, в отчаянии кричали:

– Помогите! Спасите! Помогите!

Мужчина оказался каменщиком и молил только, чтобы ему дали веревочную лестницу или хоть просто веревку, с помощью которой он мог бы спасти жену и ребенка.

Но окружающие потеряли головы и приносили то лестницы, которые были слишком коротки, то слишком тонкие веревки.

Огонь разгорался, дым черными клубами валил из окон.

В это время мимо проходил Жан Бык.

Он остановился.

– Да что ж это? – крикнул он. – Неужто у вас не найдется ни лестницы, ни веревки? Разве вы не видите, что те, там, наверху, сейчас сгорят.

Опасность была, действительно, очевидна.

Жан Бык пристально осмотрелся и, не найдя ничего подходящего, прямо подошел к окну.

– Эй, слышишь ты, Мешок с известкой, кидай ребенка сюда!

Каменщик, к которому обратились с этим прозвищем в первый раз в жизни, не успел даже рассердиться. Он схватил ребенка, поцеловал его два раза, поднял и бросил вниз.

Вокруг раздался крик ужаса.

Жан Бык ловко подхватил несчастное создание на лету и, тотчас же передав его окружающим, опять обернулся к окну.

– Теперь кидай и жену! – крикнул он.

Каменщик взял жену на руки и, несмотря на ее крики и сопротивление, бросил Жану и ее.

Бык молча принял эту новую ношу, но на этот раз пошатнулся и отступил на один шаг назад.

– Ну, вот и эта здесь, – проговорил он, спокойно ставя полумертвую от страха женщину на землю, при громких восторженных криках толпы.

– Теперь скачи сам! – крикнул он каменщику, снова возвращаясь к окну и сильно расставляя свои могучие ноги. – Вали!

Каменщик влез на подоконник, перекрестился, закрыл глаза и бросился вниз.

– В руки твои, Господи, передаю дух мой! – про шептал он.

На этот раз удар был ужасен! Под Жаном подогнулись ноги, он сделал три шага назад, но все-таки не упал.

Толпа застонала.

Все бросились к герою минуты, каждому хотелось поближе взглянуть на человека, проявившего такое чудо силы: но Жан, поставив каменщика на землю, широко взмахнул руками и упал навзничь. Из рта у него хлынула кровь с пеной.

Ни на ребенке, ни на женщине, ни на самом каменщике не оказалось ни единой царапины.

У Жана лопнула жила в одном из легких.

Его отвели в Отель Дие, откуда он, впрочем, вышел на другой же день.

Третий из собутыльников был так же черен, как Мешок был бел, и, очевидно, принадлежал к почтенному цеху трубочистов. Звали его Туссеном, а Жан Бык, не лишенный природного остроумия и, вероятно, от архитекторов слышавший о гениальном негре, чуть не сделавшем в Сан-Доминго революцию, прозвал его Туссеном-Дыркой.

Четвертому было лет под пятьдесят. Это был человек с чрезвычайно живыми глазами, быстрыми движениями и сильнейшим запахом валерьяны. Одет он был в бархатную куртку, такие же штаны и котиковый жилет и шапку. Хорошие знакомые называли его дядей Жибеллоттом.

Человек этот поставлял во все кабаки и трактиры низшего разряда кроликов именно того сорта, которых так опасался съесть Жан Робер, и пахло от него так сильно валерианой потому, что этим запахом он приманивал к себе свои несчастные жертвы, которых потом убивал, мясо продавал кабатчикам по десяти су, а шкурки – меховщикам по шести су за штуку.

Промысел этот был выгодный, но опасный, и я сам читал в 1834 или 1835 году процесс одного из собратьев дяди Жибеллотта, которого, несмотря на красноречие защитника, доказы-

вавшего несомненное превосходство кошачьего мяса над кроличьим, все-таки приговорили к тюремному заключению на год и к штрафу в пятьсот франков.

Наконец, пятым был сам Жан Бык, о котором было уже сказано столько, что можно было бы не прибавлять ничего больше, если бы мы не собирались подробнейшим физическим описанием дополнить изображение самого странного характера, который когда-либо доводилось встретить в жизни.

Жан Бык был пяти футов и шести дюймов роста, прям и статен, как дубовые балки, которые он обтесывал, так как был по ремеслу плотник. Это было нечто вроде Геркулеса Фарнезского, высеченного из одной скалы, и сам он был скалой, способной тремя взмахами одного пальца насмерть уложить троих молодых людей, имевших неосторожность рассердить его.

Лет ему было тридцать пять или сорок, лицо его было обрамлено черными, густыми баками, а богатырская шея вполне оправдывала его могучее прозвище.

Одет он был в рубаху, штаны, жилет и зеленоватую бархатную шапочку, лихо заломленную набекрень.

Из кармана у него торчал конец рубанка и небольшого плотничьего ватерпаса.

Таковы были пятеро противников, с которыми предстояло иметь дело троим – доктору Людовику, живописцу Петрюсу и поэту Жану Роберу.

V. Драка

Петрюс стоял у открытого окна, спокойно скрестив руки и презрительно поглядывая на своих противников.

Людовик рассматривал Жана Быка с любопытством истинного ученого и был в таком восторге от этого великолепного экземпляра, что наполовину забыл опасность собственного положения. Он с радостью дал бы сто франков, лишь бы овладеть его трупом после его смерти.

Очень может быть, что вдумавшись он посерьезнее, то согласился бы дать даже и двести, потому что видеть Жана Быка на анатомическом столе было неизмеримо безопаснее, чем стоять с ним лицом к лицу во враждебных отношениях.

Жан Робер вышел на середину зала отчасти затем, чтобы попытаться уладить дело миром, а отчасти затем, чтобы, в случае неудачи, принять первые удары на себя.

Несмотря на свою молодость, Жан Робер прочитал уже очень много и, в особенности, заняла его книга маршала Сакса о влиянии нравственной силы на физическую, а потому он и знал те моменты, в которые можно покорить одну другую.

Кроме того, он долго брал уроки бокса и борьбы. В то время искусство это было еще совершенно новое и лишь впоследствии доставило своему изобретателю громкое имя. Но Жан Робер познавал его из первых рук, и, будь перед ним не такой страшный противник, как Жан Бык, он мог бы и не опасаться исхода борьбы.

Но сначала он хотел употребить меры примирительные до тех пор, пока они не обратились бы в трусливое отступление.

С этой целью он заговорил первым.

– Позвольте, господа, – сказал он. – Прежде чем драться, лучше объясниться. Что вам угодно?

– Да это вы в насмешку, что ли, называете нас господами? – спросил тряпичник. – Мы не господа, слышите вы?

– Совершенно верно! – подхватил Петрюс. – Вы не господа, а сиволапые!

– Слышите, братцы, он назвал нас сиволапыми, – заворчал охотник на кошек.

– А вот мы им сиволапых-то и покажем! – вскричал каменщик.

– Да, вот только пропустите меня вперед! – про говорил угольщик.

– Молчите все! Это не ваше, а мое дело! – загремел Жан. – Жибелотт, на место!

– Да отчего же это именно твое дело?

– Во-первых, потому, что пятеро на троих не выходят, а особенно когда и одного достаточно! Жибелотт, Крючконогий, по местам!

Оба приятеля, хотя и с недовольным ворчаньем, но все-таки возвратились на прежние места и снова сели за стол.

– Вот так-то лучше! – заметил, оглядываясь в их сторону, Жан Бык. – А теперь, мои амурчики, – продол жал он, обращаясь к трем друзьям, – начнем песню сызнова и притом с самого начала. Запрете вы окно?

– Нет, – в один голос ответили все трое молодых людей, которые, несмотря на всю громоподобность его голоса, не могли не расхохотаться над его интонацией и своеобразной вежливостью.

– Да неужто же вы в самом деле хотите, чтобы я вас в порошок стер? – удивился великан, поднимая свои огромные кулачищи настолько, насколько позволял низкий потолок.

– Попробуйте, – холодно ответил Жан Робер, делая шаг вперед.

Петрюс рванулся вперед и в один прыжок очутился лицом к лицу с гигантом и заслонил собой Робера.

– Спровадь или держи в стороне тех двух, а с этим я сам справлюсь, – проговорил Робер, отстраняя художника рукою.

Он подошел к Жану еще ближе и дотронулся до его груди пальцем.

– Кажется, вы обо мне говорить изволите, ваше сиятельство? – шутливо спросил колосс.

– О тебе.

– А за что это вы изволили выбрать именно меня?

– Я мог бы сказать тебе на это, что ты самый дерзкий, так тебя больше тех и проучить следует, да на этот раз дело не в том.

– Так в чем же?

– А в том, что мы с тобой тезки: ты Жан Бык, а я Жан Робер. Ну, так нам и посчитаться промеж себя следует.

– Что меня зовут Жаном Быком, это правда, – сказал гигант, – а вот про себя так ты солгал. Зовут тебя совсем не Жан Робер, а Жан-Ф...

Но молодой человек в черном фраке не дал ему до говорить. До сих пор руки его были скрещены на груди, но в это мгновение одна из них вытянулась, как стальная пружина, и кулак ударил в висок великана.

Жан Бык, который не дрогнул, приняв на руки женщину, летевшую со значительной высоты, от этого удара зашатался, отпрянул на несколько шагов назад и упал навзничь на стол, у которого от его тяжести отскочили две ножки.

Почти то же самое происходило в это время и между другими борцами. Петрюс был мастер драться на палках; но так как на этот раз таковых не оказалось, он схватил каменщика и повалил его рядом с Жаном Быком. Людовик рассчитал свое дело по-научному и ударил доставшегося на его долю угольщика под седьмое ребро, прямо в печень, так что тот побледнел, несмотря на слой черной сажи, покрывавшей его лицо.

Жан Бык и каменщик снова встали на ноги.

Туссен, который удержался на ногах, едва переводя дух, добрался до скамейки и сел на нее, прислонясь к стене спиной.

Но молодые люди понимали, что все это было не больше, как только прелюдией настоящего боя, и потому все трое стояли наготове.

Тем не менее все действующие лица были и сами удивлены не менее зрителей.

Увидя поражение своих товарищей, тряпичник и Жибелотт опять встали со своих мест и подошли к ним.

Каменщик скоро сообразил, что получил удар не опасный, и поднялся со своей скамейки совсем сконфуженный.

Что касается Жана Быка, то ему казалось, что его ударил по голове камень, выброшенный какой-то адской катапульты.

Несколько секунд он был как бы в оцепенении, в ушах шумело, перед глазами носилось какое-то кроваво-красное облако.

Когда Жан Робер ударил его кулаком в висок, то задел и по лбу, на котором и образовалась раночка. Потекшая из нее кровь застилала великану один глаз.

– Ах, черт возьми! – вскричал Жан, подходя к противникам еще не совсем верными шагами. – Вот что значит, когда нападают невзначай. Малый ребенок, и тот может сшибить тебя с ног.

– Ну, хорошо, так соберись же на этот раз с силами, Жан Бык, да держись за землю крепче! – насмешливо посоветовал ему Жан Робер. – Смотри, не оплошай, потому что я намерен послать тебя доламывать остальные две ножки у стола.

Жан Бык бросился вперед с поднятыми кулаками, чем тотчас же и сделал громадную ошибку, потому что открыл себя всего противнику. Все искусство бокса и основывается

именно на том простом соображении, что для того, чтобы описать в воздухе кривую, кулаку нужно гораздо больше времени, чем для нанесения прямого удара.

Однако на этот раз Жан Робер использовал систему не нападения, а защиты. Правой рукой он только принял страшный удар, который наносил ему Жан, но зато в тот момент, когда кулак великана уже опустился, Робер быстро повернулся и нанес как раз в середину груди страшный удар ногой, тайной которого в то время обладал только один Лекур.

Этим приемом Жан Робер исполнил обещание, которое дал плотнику: Жан задом попятился на свое прежнее место и, если не упал, то только потому, что опустился снова на тот же стол.

Он не вскрикнул и даже не проговорил ни слова: у него пропал от удара голос.

Между тем Петрюс и Людовик тоже делали свое дело.

Петрюс со свойственной ему подвижностью, заметив, что тряпичник направляется на него, схватил табурет и швырнул ему в голову, а пока тот, ругаясь, барахтался на полу, он, как истинный бретонец, ударом головы в живот повалил и каменщика.

Но Людовик, вместо того, чтобы воспользоваться этим преимуществом и придавить врага коленом, задумался, почему от этого человека так сильно пахнет валерианой.

Он еще размышлял над этой трудной задачей, когда тряпичник и каменщик, видя поражение всех своих сторонников, принялись кричать:

– Берись за ножи, ребята! За ножи!

В это время в зал вошел гарсон с устрицами.

Он с первого взгляда понял, в чем тут дело, быстро поставил посуду на стол и побежал по лестнице, очевидно, затем, чтобы предупредить кого следует.

Но сами участники сцены не обратили на его появление почти никакого внимания.

Они были слишком заняты собою, да и следом прихода гарсона остались только одни устрицы.

Гораздо действеннее оказалось появление гарсона на четвертом этаже.

При шуме, которое произвело падение Жана Быка, при треске изломанного стола, при криках: «За ножи, за ножи, ребята!» – спавшие пьяницы проснулись. Те, которые были несколько трезвее, стали прислушиваться; один, шатаясь, добрался до двери и отпер ее, а те, которые были еще в состоянии видеть, видели, как пробежал встревоженный гарсон.

Как люди, не раз бывавшие в подобных обстоятельствах, они тотчас догадались, в чем дело, и через несколько минут на лестнице раздались стук поспешных шагов, крик, ругательства и вой, точно от стада сорвавшихся с цепи животных.

То поднималась самая настоящая пена рынка, и скоро в зал стали один за другим входить пьяные, полусонные, одурелые и взбешенные субъекты, готовые мстить за то, что их разбудили.

– Э! Да здесь драка! Настоящая поножовщина! – кричали двадцать хриплых голосов.

При виде этой толпы по телу Жана Робера, который был впечатлительнее своих товарищей, пробежала холодная дрожь, охватывающая каждого человека при приближении пресмыкающегося. Он оглянулся на Петрюса, и у него невольно вырвалось восклицание:

– Ох, Петрюс, куда ты нас завел!

Но Петрюс уже избрал совершенно новый план за щиты.

Каменщик и Туссен пришли в себя и тоже кричали:

– В ножи их, в ножи!

– На баррикады! – ответил им Петрюс возгласом, который получил в Париже историческое значение.

– На баррикады! – кричал Петрюс, помогая встать Людовику и вместе с ним увлекая и Жан Робера в угол зала, который они тотчас же и отгородили столами и скамьями.

Несмотря на всю краткость затишья, вызванного его победой над тряпичником и каменщиком, он успел тогда же овладеть палкой, которая поддерживала занавеску на окне. Жан

Робер захватил свою трость, а Людовик остался при том оружии, которым его наградила сама мать-природа.

Таким образом друзья очутились под защитой не которого рода крепости.

– А! Вот это очень кстати! – вскричал Петрюс, указывая друзьям на кучу сброшенных в углу пустых бутылок, битых тарелок, изломанных ножей и вилок. – Это отлично! Значит, и за снарядами у нас дело не станет.

– Да, это хорошо, – согласился Жан Робер. – А како во у нас насчет ран и увечий? Что касается меня, то я только угощал ими, а сам ничего не получил.

– Я тоже цел и невредим, – объявил Петрюс.

– А ты, Людовик?

– Мне, кажется, попало кулаком в скулу. Да меня не это занимает!

– А что же? – спросил Робер.

– Мне ужасно хочется знать, почему от последнего субъекта, с которым я имел дело, так сильно пахнет валерианой?

В это время рев и ругательства пьяной толпы достигли таких пределов, что троим друзьям поневоле пришлось прекратить дальнейший разговор.

VI. Господин Сальватор

Вид толпы произвел на простолюдинов совсем иное впечатление, чем на светских молодых людей.

Плотник Жан Бык и его товарищи поняли, что к ним подошла помощь.

Жан Робер и его друзья видели во вновь пришедших пьяницах только новых врагов.

Свой своему поневоле брат.

Толпа, злобно поглядывая на баррикаду, устроенную друзьями, окружила Жана Быка и его товарищей, рас спрашивая, в чем дело.

Рассказать это правдиво было довольно трудно, так как во всех неприятностях был виноват сам Бык.

Во-первых, он сам вызвал раздражение молодых людей, требуя, чтобы они заперли окно. Во-вторых, – и по мнению слушателей, эта вина была гораздо важнее первой – он допустил, чтобы его ударили до крови в лицо и до потери голоса в грудь.

Он принялся рассказывать все это по-своему, но как ни хитрил, а скрыть правды все-таки не сумел.

– Я хотел запереть окно, а оно осталось открытым. Я хотел побить за это, а меня побили самого, – объявил он, наконец, коротко и ясно.

Толпа, как истинная толпа, все-таки несла в себе чувство справедливости и, услышав признание Быка, принялась хохотать над ним, несмотря на всю свою ненависть к черным фраккам.

Это еще больше взбесило плотника.

Он был зол и раньше, но этот хохот довел его до ярости.

Бык оглянулся на врагов и, видя, что они загородились в своем углу, а четверо его товарищей уже начали осаждать их, громко крикнул им:

– Эй, вы, стой! Оставьте их! Дайте я сам сотру этого фращника в порошок.

Но тряпичник, угольщик, кошачий охотник и каменщик так увлеклись своей осадой, что не обратили на его окрик ни малейшего внимания.

Положение их было незавидное.

Людювик так ловко бросил в лицо тряпичнику осколок разбитой бутылки, что глубоко рассек ему щеку.

Жан Робер швырнул в Туссена табуретом и расшиб ему голову.

Наконец Петрюс сквозь отверстие в баррикаде весьма чувствительно ткнул своей палкой кошачьего охотника в грудь, а каменщика – в бедро.

Все четверо ревели от боли и злости:

– Убить их! Убить!

Драка, действительно, начинала переходить в смертельный бой.

Окончательно разъяренный и хохотом окружающих, и видом крови на одежде товарищей и на своей собственной, Жан Бык выхватил свой ватерпас и, занеся его над головой, один ринулся на баррикаду.

Петрюс и Людювик схватили по бутылке и бросились навстречу, собираясь разmozжить ему голову. Но Жан Робер, видя, что это единственный серьезный противник и что от него нужно, наконец, так или иначе отделаться, оттолкнул их назад, прошиб в баррикаде отверстие и, продев в него свою тонкую трость, громко крикнул Быку:

– Послушай, да ты никак с ума сошел!? Разве тебе еще мало?

Толпа хохотала и аплодировала.

– Нет, не достаточно! – рявкнул Бык в ответ. – Я до тех пор не успокоюсь, пока не загоню тебе ватерпас в брюхо!

– Это значит, Жан Бык, ты понимаешь, что ты не сильнее меня, и хочешь быть злее. Ты не можешь победить меня, так собираешься убить.

– Я хочу отплатить тебе, гром и молния! – кричал Жан, распаляясь даже от звуков собственного голоса.

– Берегись, Жан Бык, – спокойно возразил молодой человек. – Даю тебе мое честное слово, что ты еще не бывал в такой опасности, как теперь.

– Вы ведь мужчины, – продолжал он, обращаясь к толпе, – уговорите этого человека. Ведь вы видите, что я спокоен, а он совсем с ума сошел.

Четыре или пять человек вышли из толпы и встали между Быком и баррикадой.

Но это вмешательство не только не успокоило Жана, а вызвало еще большее его раздражение.

Он взмахнул рукой, и все пятеро отлетели в сторону.

– А! Так я никогда не бывал в такой опасности, как теперь? – кричал он. – Уж не этой ли щепкой собираешься ты напугать меня? Ну-ка!

Он взмахнул над головою ватерпасом и двинулся вперед.

– Вот в том-то и дело, что ты ошибаешься! – проговорил Жан Робер. – Моя трость вовсе не щепка, как ты думаешь, а нечто совсем иное.

Он несколько раз повернул набалдашник и вынул из трости тонкую стальную рапиру. Трехгранный клинок превосходнойковки зловеще сверкнул в воздухе.

Толпа завывала от удовольствия и страха.

Эпизод развивался по всем правилам драматического искусства: подробности становились чем далее, тем интереснее.

– Ага! – вскричал Бык, видимо, радуясь освобождению от упрека совести. – Значит, и ты не с голыми руками! Мне только этого и надо было!

Он опустил голову, поднял вооруженную руку и бросился на Жана Робера. Прием этот был в высшей степени наивен, потому что им Бык открывал противнику всю свою грудь.

Но вдруг чья-то сильная рука так схватила его за кулак, что он выронил ватерпас и с ругательством оглянулся.

– Ах! Это вы, господин Сальватор! Это дело, разумеется, другое!.. – проговорил он, мгновенно смиряясь.

– Господин Сальватор! Господин Сальватор! – загудела толпа. – Хорошо, что вы пришли! Тут без беды не обошлось бы!

– Господин Сальватор? – проговорил Жан Робер, – Это еще кто такой?

– Имя у этого молодца многообещающее! – заметил Петрюс. – Посмотрим, оправдает ли он эти обещания...

Человеку, который явился с неожиданностью древнего божества, чтобы дать кровавому делу благое окончание, было на вид лет тридцать. В этом возрасте красота достигает полного своего развития и возмужалости, и в тот момент, когда этот человек с кротким лицом стоял и смотрел на толпу своим повелительным взглядом, он был действительно хорош.

Но через секунду было бы уже трудно определить его возраст.

Когда он смотрел вокруг с участием и любопытством, лоб его был гладок и чист, как у юноши; но если зрелище не нравилось ему, черные брови его хмурились, лицо покрывалось глубокими морщинами.

Заставив Быка одним пожатием кулака выпустить ватерпас, он оглянулся вокруг. Молодые люди хорошего общества, видимо, случайно попавшие в этот вертеп, стояли за кучей беспорядочно нагроможденной мебели. Тряпичник с рассеченным лицом припал к столу; все платье каменщика было залито кровью; лицо угольщика мертвецки бледно, а кошачий охотник, держась за бок, кричал, что он убит. При виде этой картины лицо Сальватора приняло такое

строгое и жесткое выражение, что самые буйные опустили головы, а те, которые еще не совсем протрезвились, побледнели.

Сальватору предстоит играть главную роль в нашем рассказе, а потому необходимо дать возможно более точное описание его личности.

Как уже было сказано, на вид ему было лет тридцать. Черные, мягкие волосы его вились от природы, отчего они казались гораздо короче, чем были на самом деле. Глаза у него были кроткие, голубые и светлые, как вода в озере во время затишья, когда в него смотрится небо. При этом они поражали такой выразительностью, благодаря которой в них отражалась каждая его мысль.

Овал лица отличался рафаэлевской чистотой, ни одна линия не нарушала его гармоничности.

Нос был прям, тверд, неширок; рот невелик и с пре красными белыми и ровными зубами, а губы прятались под красивыми черными усами.

Все лицо, скорее матовое, чем бледное, обрамлялось черной бородой, к которой, видимо, никогда не прикасались ни ножницы, ни бритва. Эта девственная, мягкая и блестящая борода скорее смягчала общее выражение лица, чем придавала ему резкость.

Но что особенно поражало во всем существе его, так это удивительная белизна его кожи. То не была ни желтоватая бледность ученого, ни белая отечность кутилы, ни мертвенность преступника. Цвет этого лица вернее всего было бы сравнить с грустным светом луны, играющим на белом лотосе или на девственных снегах Гималаев.

Одет он был в нечто вроде черного бархатного пальто, которое стоило только несколько стянуть у кушака, чтобы оно стало совершенно подобием казакинов пятнадца того века. Жилет и панталоны на нем были тоже черные, бархатные.

На голове небрежно и красиво сидела черная бархатная шапочка, так напоминавшая своей формой ток¹, что каждый невольно взглядывал на нее пристальнее, отыскивая традиционное страусовое или соколиное перо.

Особенно аристократический вид придавало этому костюму среди толпы то обстоятельство, что он был не из манчестера, который носили и все рабочие, а из настоящего шелкового бархата, как платье какой-нибудь герцогини или актрисы, а ярко-красный галстук, небрежно повязанный вокруг шеи, красиво выделялся на мягком черном фоне.

Изящество и оригинальность этого костюма поразили и Жана Робера, и Людовика, но в особенности Петрюса. После своего замечания:

– Имя у этого молодца многообещающее! Посмотрим, оправдает ли он эти обещания, – он тотчас же прибавил: – Вот так чудеснейшая модель для моего «Рафаэля у Форнарины». Я с радостью дал бы ему шесть франков вместо четырех за час, если бы он согласился позировать.

Что касается Жана Робера, то его, как драматического автора, особенно ценившего театральные эффекты, больше всего поразила та почтительность, с которой встретила толпа оборванцев этого человека и которая напомнила ему Нептуна, умиряющего своим божественным трезубцем бурные морские волны.

¹ Ток – высокий прямой, без полей женский головной убор.

VII. Жан Бык отступает, а толпа следует за ним

Как только тридцать человек, находившиеся в зале, заметили приход странного незнакомца, в нем воцарилась такая тишина, что слышалось только шумное дыхание людей, утомленных борьбою.

Жан Бык сначала растерялся и принял это молчание за выражение общего неодобрения; однако, несколько придя в себя, заговорил как можно мягче:

– Господин Сальватор, позвольте мне объяснить вам...

– Во всяком случае, ты виноват! – возразил молодой человек тоном судьи, произносящего приговор.

– А все-таки я хотел сказать вам...

– Ты виноват! – настойчиво повторил молодой человек.

– Да как же вы можете это знать, когда вас тут вовсе и не было, господин Сальватор?

– Разве мне нужно было быть здесь, чтобы знать, что тут у вас было?

– Черт возьми! Но мне думается...

Сальватор протянул руку по направлению к Жану Роберу и его двум друзьям, которые стояли теперь рядом.

– Посмотри-ка сюда, – сказал он.

– Ну, что ж? И смотри! – ответил Жан Бык. – Что из этого?

– И что ты видишь?

– Вижу трех фертиков, которым обещал дать добрую встрепку, и задам ее непременно.

– Вот и врешь! Ты видишь трех порядочных молодых людей, которые виноваты только тем, что зашли в такой вертеп. Но из-за этого тебе еще не следовало ссориться с ними.

– Да разве я начал ссориться с ними?

– Уж не станешь ли ты рассказывать мне, что это они затеяли ссору и начали драться с тобой и с твоими товарищами?

– Однако ж они и при вас собирались защищаться.

– Оно и понятно! За них была и их ловкость, и их правда! Ты ведь воображаешь, что все дело в силе, и даже переименовал свое настоящее имя Варфоломея Лелона на прозвище Жана Быка... Ну, вот теперь и уверяй, что это не так! Дай бог, чтобы этот урок остался у тебя в памяти!

– Да говорю же вам, что они сами называли нас чудаками, разбойниками, сиволапыми...

– А за что они вас так называли?

– Они говорили, что мы пьяные.

– Нет, я тебя спрашиваю, за что они вас так называли?

– За то, что мы хотели запереть окно.

– А почему тебе так мешало, что оно отворено?

– Да потому что... потому что...

– Ну, ну, почему? Говори же!..

– Потому что я не люблю сквозняка, – с видимым усилием выговорил Жан Бык.

– Потому что ты пьяный бываешь зол, любишь ссориться и ухватился за первый попавшийся случай; потому что ты и перед этим с кем-нибудь поссорился и хотел на ком-нибудь сорвать злость за капризы и неверности мадемуазель...

– Молчите, господин, эта злодейка меня в могилу загонит!

– Ага! Видишь, значит, я попал метко!

Сальватор с минуту помолчал и нахмурился.

– Эти господа поступили хорошо, что отперли окошко, – продолжал он, – воздух здесь отвратительный! А так как на сорок человек одного отпертого окна мало, то сейчас же ступай и отопри еще одно.

– Я? – переспросил плотник и бессознательно крепче расставил ноги. – Чтобы я пошел отпирать второе окно, когда сам требовал, чтобы заперли первое?! Ведь я все еще Варфоломей Лелон, сын моего отца.

– Ты, Варфоломей Лелон-пьяница и задира, который позорит имя своего отца и который сделал хорошо, что принял вместо этого имени кличку. А я говорю тебе, что в наказание за то, что ты рассердил этих господ, ты пойдешь и откроешь второе окно.

– Пусть разразит меня гром небесный, если я тебя послушаюсь! – вскричал Бык, поднимая кулаки к потолку.

– Хорошо! В таком случае я тебя не знаю ни под именем, ни под кличкой. Ты для меня не больше как мужик-грубиян, и я стану прогонять тебя отовсюду, где мы встретимся.

Сальватор повелительно указал рукой на дверь.

– Ступай отсюда, – проговорил он.

– Не пойду! – отрезал плотник с пеной у рта.

– Именем твоего отца, которого ты сейчас помянул, приказываю тебе: ступай отсюда!

– Нет же, нет, – гром и молния, – не пойду! – повторил Бык, садясь верхом на скамейку и хватаясь за нее руками, точно рассчитывая в случае надобности защищаться ею.

– Так, значит, ты хочешь довести меня до крайности? – спросил Сальватор так спокойно, что никому не пришло бы и в голову, что в словах этих заключалась серьезная угроза.

Говоря это, он медленно подходил к плотнику.

– Не подходите, не подходите, господин Сальватор! – вскричал тот, быстро отодвигаясь на всю длину скамейки. – Не подходите ко мне!

– Уйдешь ты отсюда? – спросил Сальватор, делая еще шаг вперед.

Жан Бык вскочил и поднял скамейку, точно собираясь ударить ею молодого человека.

Но вдруг отвернулся и бросил ее в сторону.

– Ведь вы знаете, что можете меня заставить сделать все, что захотите, – сказал он. – Лучше я сам отрежу себе руки, чем ударю вас. Но по доброй воле я отсюда все-таки не уйду!

– Ах ты, упрямый негодяй! – вскричал Сальватор, хватая его одновременно за галстук и за кушак.

Жан Бык захрипел от ярости:

– Уносите меня, коли хотите, я вам не препятствую, а по доброй воле все-таки не пойду! – сказал он.

– Ну, так пусть же будет по-твоему! – проговорил Сальватор.

Он сильно встряхнул великана, точно вырвал с корнем дуб из земли, сшиб его с ног, поднял, донес до лестницы и раскачал над нею.

– Как ты хочешь: сойти с лестницы по ступенькам или слететь с нее одним махом? – спросил он.

– Я ведь в ваших руках, делайте со мною, что хотите, а по доброй воле я все-таки не уйду.

– Ну, так ступай по моей! – ответил Сальватор и, как тюк, бросил его с четвертого этажа на третий.

Вслед за тем послышался стук, с которым тело Быка скатывалось с последних ступенек.

Толпа не вскрикнула и даже не произнесла ни слова: она была довольна; она восторгалась.

Но трое молодых врагов несчастного Быка были глубоко взволнованы. Вечно веселый Петрюс был мрачен. У флегматичного Людовика сильно билось сердце. И только один впечатлительный поэт Жан Робер был, по-видимому, спокоен.

Когда Сальватор вернулся в зал уже без плотника, Жан положил рапиру в ее оригинальные ножны и вытер платком пот со лба.

– Благодарю вас, милостивый государь, что вы избавили меня и моих друзей от этого осатанелого пьяницы, – сказал он, протягивая Сальватору руку, – но боюсь, не повредило бы ему это падение?

– О, не беспокойтесь! – вскричал Сальватор, пожимая своей белой, аристократической рукой, только что показавшей такое чудо силы, протянутую ему руку. – Он пролежит всего каких-нибудь две-три недели, и за это время успеет горько оплакать то, что теперь наделал.

– Неужели вы думаете, что это чудовище способно плакать?! – с удивлением спросил Жан Робер.

– Говорю вам, что он будет плакать горячими, кровавыми слезами... Это самый честный человек с прекраснейшим сердцем, которое я когда либо знал. Следовательно, беспокойтесь не о нем, а о себе.

– Почему же обо мне?

– Да, о вас... Позвольте мне дать вам один дружеский совет.

– Сделайте одолжение!

– В таком случае, – проговорил Сальватор так тихо, что его мог слышать только один его собеседник, – не ходите сюда никогда, мосье Жан Робер.

– Как?! Разве вы меня знаете?

– Знаю, как знают и все, – ответил Сальватор с безукоризненной вежливостью, – ведь вы один из наших знаменитейших поэтов.

Жан Робер покраснел до корней волос.

– А теперь, – продолжал Сальватор, обращаясь к толпе и мгновенно изменяя тон, – надеюсь, вы довольны и получили за свои деньги все, чего могли желать? Сделайте же одолжение, уберитесь отсюда поскорее. Воздуху здесь достаточно только на четверых; это значит, что я хочу остаться с этими господами один.

Толпа повиновалась ему, как стая школьников учителю, и, кланяясь молодому человеку, лицо которого было так же спокойно после предшествующей бурной сцены, как небо после грозы, стала молча спускаться с лестницы.

Четверо собутыльников Жана Быка прошли мимо него с опущенными головами и раскланялись перед ним так почтительно, как солдаты перед своим начальником.

Когда все они ушли, в дверях появился гарсон.

– Прикажете подать ужин, господа? – спросил он.

– Прикажем, и еще скорее, чем прежде, – ответил Жан Робер... – Надеюсь, вы будете так любезны отужинать с нами, мосье Сальватор? – прибавил он, обращаясь к молодому незнакомцу.

– Очень охотно, – ответил тот, – но не заказывайте для меня ничего лишнего. Я уже заказал себе ужин внизу, но услышал шум и пришел сюда.

– Слышите? Ужин господина Сальватора подать сюда, – сказал Жан Робер гарсону.

– Слушаю-с! – ответил тот и убежал.

Спустя несколько минут, четверо молодых людей сидели за ужином.

Выпили сначала за победителей, потом за побежденных и, наконец, за того, кто подоспел так вовремя, чтобы предотвратить еще большее кровопролитие.

– А вы, кажется, отлично знаете и бокс, и борьбу, и фехтование, – заметил Сальватор, с улыбкой обращаясь к Жану Роберу – Вы дали бедняжке Жану ловкого туза в висок, превосходно лягнули его в грудь и собирались угостить премилым уколом рапиры, но я вошел и помешал вам... Ну, да это все равно!.. Стояли вы превосходно, и, будь я на месте мосье Петрюса, непременно нарисовал бы вас в этой позе.

– Как!? Вы знаете и меня? – вскричал Петрюс.

– Да, знаю, – с легким вздохом ответил Сальватор, точно это воспоминание навесило на него облако грусти. – Прежде, чем завести мастерскую на улице Уэст, вы жили на улице дю-Регар, и там-то я и имел удовольствие видеть вас два или три раза.

Людювик все время молчал и сидел, задумавшись, точно сосредоточенно разрешал какую-то трудную задачу.

– Что это с вами, мосье Людювик? – спросил, обращаясь к нему, Сальватор. – Вы, кажется, чем-то озабочены? Так задумываться можно разве только перед экзаменами, а ведь у вас это дело, слава богу, окончено уже три месяца тому назад.

Жан Робер взглянул на Сальвадора с удивлением. Петрюс расхохотался.

– Вот, кстати, мосье Сальватор, – совершенно серьезно заговорил Людювик. – Вы знаете, кажется, все на свете...

– Вы очень любезны, – с улыбкой заметил Сальватор.

– Ну, так если вы знаете моих друзей, поэта Жана Робера и художника Петрюса, знаете, что я доктор, не знаете ли вы также, почему от кошачьего охотника так сильно разило валерьяной?

– Вы ловите рыбу, мосье Людювик?

– Да, иногда, в свободные минуты, хотя вообще я большей частью занят.

– В таком случае, как бы вы мало ни занимались рыболовством, вы, вероятно, знаете, что семена, которые употребляют для приманки карпов, сначала пропитывают мускусом или анисом.

– Ну, это знают не только рыболовы, но также и натуралисты.

– Тем лучше. А валерьяна для кошек то же самое, что анис или мускус для карпов, – она их привлекает. А так как дядя Жибеллот занимается охотой на них...

– О! – перебил Людювик, обращаясь к самому себе, с той несколько комичной флегмой, которая составляла одну из черт его характера. – О, наука! О, таинственная богиня! Неужели края твоего покрывала всегда открываются перед глазами смертных только случайно? И подумайте только, что если бы Петрюсу не пришла фантазия ужинать в кабаке, если бы мы не поссорились с блузниками, я не дрался бы с кошачьим охотником, а вы не пришли бы вовремя разнять нас, то наука, может быть, еще десять, двадцать, наконец, сто лет все еще не знала бы тайны, что валерьяна для кошек то же, что анис и мускус для карпов.

Ужин шел весело.

Петрюс на жаргоне тогдашних мастерских рассказал, как ему однажды пришлось нарисовать в одном трактире двадцать портретов за неимением десяти франков двадцати сантимов, так что каждый портрет обошелся его счастливому обладателю по пятидесяти одному сантиму.

Людювик с математической точностью доказывал, что хорошенькие женщины никогда не могут быть больны серьезно, и четверть часа отстаивал этот парадокс с жаром, которого почти нельзя было ожидать от такого флегматика.

Жан Робер рассказал план драмы, которую собирался написать для Бокажа и мадам Дорваль, а Сальватор сделал по этому поводу несколько весьма метких замечаний.

Бутылки быстро сменялись одна другою. Петрюс и Людювик условились подпоить Сальватора, чтобы заставить его разговориться; но, как оно всегда в подобных случаях бывает, кончилось тем, что Сальватор был совершенно трезв и спокоен, а сами они сильно захмелели.

Что касается Жана Робера, то он даже в кабаках пил только одну чистую воду.

Между тем, вино разбирало Людювика и Петрюса все более и более. Они дошли до того, что стали рассказывать бессмыслицу, повторяли одни и те же слова и остроты, наконец осовели окончательно и заснули.

VIII. Пока Людовик и Петрюс спали

Как только мерный храп возвестил, что двое младших собеседников окончательно отказались от всякого участия в разговоре, Сальватор поставил локти на стол, подпер голову руками и, пристально глядя в лицо Жана Робера, спросил его:

- Скажите, пожалуйста, господин поэт, зачем вы пришли сюда сегодня ночью?
- Затем, чтобы доставить удовольствие моим друзьям Петрюсу и Людовику.
- Только единственно за этим?
- Единственно!
- И ничто другое не побуждало вас оказать им эту любезность?
- Насколько мне известно, ничто.
- Вы в этом вполне уверены?
- Насколько вообще можно быть уверенным в самом себе.

– В таком случае вы не обманываете меня, но обманываетесь сами... Нет, эти двое молодых людей, которые почивают теперь невинным сном, были вовсе не причиной, а только предлогом для вашего прихода сюда. И знаете ли, зачем вы сюда пришли? Ну, так я скажу вам это. Вы пришли сюда ради наблюдений, необходимых для философа, поэта, романиста и драматурга. Вы пришли изучить сердце человеческое *in anima vili*, как выражаются в школе. Правда это?

– Да, в ваших словах есть доля правды, – улыбаясь, согласился Жан Робер. – До сих пор я писал только для театра, но не хочу ограничиваться этим. Мне хотелось бы начать писать бытовые романы, но писать их так, как писал свои пьесы Шекспир, охватывая целый исторический период и выводя на сцену все общество целиком, от могильщика до принца Гамлета включительно. И, признаюсь вам, в «Гамлете» сцена с могильщиком не кажется мне хуже других, а гробокопателей и осквернителей трупов я не нахожу худшими философами, чем остальные.

– Да, я, может быть, даже вполне согласен с вашим мнением, но, говоря откровенно, вы взялись за это дело не так, как следовало, вернее, вы избрали не то место для своих наблюдений. Как и где показывает своих могильщиков Шекспир? По колено в могиле, с голым черепом в руках, на самом месте их назначения, а вовсе не в кабаке виноторговца Иоганна, к которому первый могильщик посылает второго за стаканом эля. Если хотите быть поэтом, влюбитесь в женщину и бродите по лесу. Хотите сделаться драматургом, – бывайте в свете до полуночи, изучайте Мольера и Шекспира до двух часов, проспите часов шесть, закрепите свои воспоминания чтением и пишите от девяти часов утра до полудня. Если хотите написать роман, возьмите Лесажа, Вальтера Скотта и Купера, т. е. художников характеров, нравов и природы, изучайте человека у него дома – в его мастерской, если он художник, за его конторкой, если он негоциант, в его кабинете, если он министр, на троне, если он король, – но никогда не смотрите на него в кабаках, куда он приходит утомленный и откуда уходит пьяный. Вот именно на кабаках-то и следовало бы вывешивать знаменитую дантовскую надпись: «Оставь надежды всяк сюда входящий». И затем: что за отвратительную ночь выбрали вы для своих наблюдений! Последнюю ночь карнавала, когда ни один из этих людей не на своем месте, когда все они заложили все, до последнего тюфяка, чтобы раздобыть костюмы получше, чтобы под их прикрытием обворовывать людей богатых, – одним словом, в сегодняшнюю ночь они сами на себя не похожи! Да, господин наблюдатель, – заключил Сальватор, пожимая плечами, – нельзя не заметить, что вы делали свои наблюдения довольно странным способом!

– Продолжайте, продолжайте, – промолвил Жан Робер, – я вас слушаю.

– Хорошо. Что сказали бы вы о человеке, который вздумал бы изучать сердце человеческое в сумасшедшем доме? Не правда ли, вы могли бы принять и его самого за сумасшедшего? А между тем, вы сами только что сделали то же самое. Послушайте, мосье Жан Робер, нас свел

случай, а жизнь, может быть, сейчас же разъединит нас так, что мы никогда больше не увидимся... Так позвольте мне дать вам один совет. Вероятно, я кажусь вам очень навязчивым?

– О, нет! Клянусь вам, нисколько!

– Да, если хотите, я сам сочиняю роман.

– Вы??!

– Да, да, но, успокойтесь, – это не из тех романов, которые печатают, – я конкурировать с вами не стану. Я хотел только сказать вам этим, что и я также имел претензию быть наблюдателем. Романы, многоуважаемый поэт, сочиняет само общество. Ищите у себя в мозгу, терзайте свое воображение три месяца, полгода, целый год и все-таки не создадите ничего подобного тому, что случайность, фатум или провидение – называйте это как хотите – создает в несколько мгновений, что оно связывает и развязывает в одну ночь и в особенности в таком городе, как Париж. Есть у вас сюжет для вашего романа?

– Нет, нет еще. К вещам театральным я отношусь гораздо смелее, – они почти не смущают меня. Меня привлекают романы с их эпизодами, перипетиями и лестницами от низших до высочайших ступеней общества, роман с будуаром принцессы и мансардой простой ремесленницы, с Тюильри и тапи-франком, вроде того, в котором мы сидим теперь, с Нотр-Дам и Гревской площадью. Признаюсь вам, я с некоторым ужасом отступаю перед огромным трудом, который представляется целым миром, мне остается надеяться...

– А я на этот раз думаю, что вы ошибаетесь, – возразил Сальватор.

– В чем же дело?

– В том, что вы намерены что-то сделать, создать.

– Это разумеется.

– А вы не создавайте, а дайте ему сложиться самому.

– Я вас не понимаю.

– Вы знаете, как действовал Асмодей?

– Он поднимал крыши домов и говорил дону Клеофасу: «Посмотрите».

– А разве у вас есть власть Асмодея? Разумеется, нет. Я же скажу вам: поступайте еще проще. Выйдите из этого вертепа и ступайте за первым мужчиной или женщиной, которые вам попадутся. Следите за ними на улицах, в переулках, на набережных. Этот первый попавшийся человек или первая попавшаяся женщина, может быть, и не будут героем или героиней вашего романа, но, наверно, окажутся сыном или дочерью того колоссального, всеобъемлющего романа, который сочиняет сам Бог... Зачем Он это делает, известно только Ему одному. Сделайтесь просто-напросто его сотрудником и, уверяю вас, что с первого же шага нападете на след какого-нибудь или ужасного, или смешного происшествия.

– Да, но теперь ночь.

– Тем лучше. Ведь ночь, собственно, и создана для поэтов, влюбленных, часовых, патрулей, воров и романистов.

– Значит, вы хотите, чтобы я начал мой роман сейчас же?

– Да он уже начат.

– В самом деле?

– Разумеется.

– С какого же это часа?

– С той минуты, когда друзья ваши сказали вам: «Пойдем ужинать в кабак».

– Вы шутите!

– Нет, честное слово, я вовсе не шучу. Жан Бык будет одним из действующих лиц вашего романа, Жибелотт тоже, так же как и Туссен, и Мешок с известкой. Двое ваших друзей, которые теперь спят и вовсе не подозревают, что мы назначаем им роли, будут тоже действующими лицами вашего романа. Да даже я сам, если вы почтете меня достойным этого, буду одним из героев вашего романа.

– А знаете что! Ведь то, что вы говорите, совершенная правда, и я вполне готов последовать вашему совету.

– В таком случае начните, сказав себе, что вы сами автор великой человеческой драмы, сценой которой служит весь мир с его лесами, горами, реками и океанами, где каждый действует, на первый взгляд, в своих интересах, по своей фантазии и капризу, а, в сущности, движется только по мановению невидимой, но всемогущей руки предопределения. Слезы, которые будут проливаться на этой сцене, будут подлинными слезами, кровь, которую мы там увидим, будет настоящей горячей кровью, и вы сами можете примешивать к ним ваши слезы и вашу собственную кровь. Вы действительно именно такой человек, каким я вас представлял. Смотрите-ка, начало подмораживать, ночь чудная, светлая. Пойдемте искать продолжения истории, первую главу которой мы, если не написали, то разыграли.

– Но ведь нельзя же мне оставить здесь своих друзей.

– Почему же нет?

– А если с ними что-нибудь случится?

– О! Об этом не беспокойтесь. Я переговорю с гарсоном, а когда здесь будут знать, что они состоят под моим покровительством, то ни один, хотя бы даже самый наглый бродяга в этом вертепе, не посмеет прикоснуться к их головам.

– Хорошо, – согласился Жан Робер, – только будьте так любезны, отдайте это распоряжение при мне.

– Очень хорошо.

Сальватор подошел к лестнице, нагнулся над нею и свистнул каким-то особенным образом.

Казалось, что этого человека здесь никогда не заставляли ждать. Свист его еще не успел стихнуть, как по лестнице взбежал гарсон.

– Вы звали, господин Сальватор? – спросил он.

– Да.

Он протянул руку и, указывая на двух спящих молодых людей, пояснил:

– Эти господа – мои друзья, мэтр Бабилас. Понял?

– Точно так, господин Сальватор, – коротко ответил гарсон.

– Теперь мы можем идти, – сказал молодой человек поэту.

Жан Робер остался еще на несколько минут, спросил счет и расплатился.

Давая гарсону пять франков на чай, он прибавил:

– Скажи, братец, пожалуйста, кто этот барин, который сейчас велел тебе беречь моих друзей?

– Это не барин-с, это господин Сальватор. А разве вы их не знаете?

– Нет. Поэтому-то я тебя и спрашиваю.

– Это комиссионер с улицы Фер.

– Что ты говоришь!?

– Я говорю-с, что это комиссионер с улицы Фер.

Гарсон проговорил это так серьезно и просто, что заподозрить его во лжи не было возможности.

– Да, кажется, этот господин Сальватор сказал правду, и мы начинаем с ним какой-то доселе небывалый роман! – проворчал Жан Робер, поспешая за своим спутником.

IX. Два друга Сальватора

Комиссионер с улицы Фер сказал правду – ночь сто яла великолепная.

На часах рынка пробило два.

Когда молодые люди вышли из кабака, вправо от них блестел шедевр единственного французского архитектора – скульптора Жана Гужона, – «Фонтан невинных», залитый фантастическим светом луны. Его прекрасные пилястры коринфского стиля четко выделялись на темном фоне во всей чистоте своих гармоничных линий. Казалось, будто наяды, эти капли кристальной воды, преобразенные в женщин, спускали со своих прекрасных тел легкие покровы, чтобы броситься в зеркальный бассейн или окунуть в него свои прелестные ножки.

Молодые люди, несмотря на разницу в общественном положении, которое их, по-видимому, разделяло, взяли друг друга под руку и направились на улицу Сен-Дени, мимо Пале-де-Жюстис. Дойдя до площади Шале, они остановились. Перед ними беззвучно струилась Сена. Нотр-Дам высился в своей печальной неподвижности; Сен-Шапель гордо поддерживал свою кружевную вершину над крышами домов, как Левиафан свой хобот над волнами. Можно было подумать, что судьба перенесла их в Париж пятнадцатого столетия.

Для довершения иллюзии вдоль по набережной шла толпа молодых людей в костюмах времен Карла VI.

– Два часа четырнадцать минут! – кричали они во все горло. – Мы успокоились! Спите, парижане!

И, действительно, ничто не нарушало уверенности, что то была одна из тех депутаций, которые время от времени отправляла к королю Карлу VI царившая в ту пору в Париже корпорация мясников, чтобы вытребовать у него какие-нибудь новые льготы. Тут был и Гуа, и Тиберий, и Люилье, и Мелотт, со страшным живодером Кабошем во главе.

Казалось, они спокойно прогуливались по улицам, ожидая для начала своих проказ захода луны или пробуждения короля.

Сальватор и Жан Робер пропустили маскарад мимо себя, быстро перешли Меняльный мост и очутились на небольшой площади, лежащей между мостом Св. Михаила и улицей Лагарпа.

Человек тридцать студентов и гризеток с веселыми криками плясали вокруг нескольких снопов пылающей соломы.

Жан Робер, который в это время изучал историю Франции, невольно начал искать глазами тумбу с человеческой головой и с кошельком на шее, так как французские хроникеры свидетельствуют, что тумба стояла на этой площади вплоть до начала семнадцатого столетия.

Казалось, что вся эта молодежь, одетая в средне вековые костюмы, которые в то время начинали входить в моду, собралась сюда, чтобы через четыреста лет протестовать против измены, совершенной на этой площади.

И действительно, 12 июля 1418 года стояла такая же ясная, тихая ночь, когда Перине Леклер вытащил из-под подушки своего спящего отца ключи от Сен-Жерменских ворот и отпер их восьмистам воинам герцога Бургундского, которые ожидали этого за стенами, под предводительством Вильера, владельца Пель-Адама.

Всех, кто попадался под руку, бургундцы убивали без всякой пощады: детей, женщин, стариков. Епископы Кутанса, Сента, Байе, Сенлиса, д'Евре были убиты в собственных постелях. Коннетабль и великого канцлера вы тащили из домов, забили до смерти, разрубили на куски, части тела разбросали в разные стороны, а головы таскали по улицам.

Разгром продолжался целых восемь дней, но к концу этого времени парижане выгнали бургундцев и снова заперлись в своем городе. Тотчас после этого принялись отыскивать пре-

дателя, навлекшего на город столько позора и несчастий. Однако, несмотря на все розыски, Перине Леклера в Париже не оказалось.

Он исчез, и никто никогда не узнал, когда и куда он бежал.

Какой-то скульптор наскоро сделал грубое изображение предателя. Толпа носила его по улицам, плевала ему в лицо, била по щекам, осыпала его проклятиями. Тот же скульптор вылепил голову этого Иуды пятнадцатого века на тумбе и повесил ему на шею кошелек. Историки того времени видели эту тумбу и упоминают о ней на страницах своих сочинений.

Вспоминая обо всем этом, Робер отвернулся от ярко освещенной группы пляшущей молодежи и сился найти эту памятную тумбу в каком-нибудь из темных углов площади.

– Хотел бы я знать, где именно она стояла? – проговорил он вполголоса.

– На углу площади и улицы Сент-Андре-д'Арк, – ответил Сальватор, точно он все время следил за мыслью Жана Робера, которая закончилась этим вопросом.

– Каким образом знаете вы вещь, которой не знаю я? – с удивлением спросил Жан Робер.

– Во-первых, ваше удивление для меня не особенно лестно, – смеясь, ответил Сальватор, – а во-вторых, не ужели вы думаете, господин поэт, что хорошо знают не которые вещи именно те люди, которым подобает их знать по их специальности? Я думал, что незнание друга вашего, Людовика, относительно валерьяны, послужило вам достаточно назидательным примером.

– Извините, – ответил Жан Робер. – Сознаюсь, что у меня вырвалось глупое слово, и обещаю, что больше этого не будет. Я начинаю приходить к заключению, что вы знаете все на свете.

– Нет, это сказано слишком сильно, – возразил Сальватор. – Всего на свете я не знаю и знать не могу; но я живу с народом, а он знает очень многое. Это гигант, который осуществляет античный миф об Аргусе, имевшем сто глаз, и о Бриаре, имевшем сто рук, – он сильнее короля и умнее самого Вольтера. Одно из достоинств или, может быть, и один из пороков этого народа составляет память и притом память, особенно долго хранящая воспоминания об изменах, за которые он всегда готов мстить. Злодей, которого помиловал король и удостоил своего благоволения, которого с распростертыми объятиями приняла аристократия, перед которым почтительно раскланивается буржуазия, для простого народа всегда и несмотря ни на что остается злодеем. Очень может быть, что недалеко уже то время, – продолжал Сальватор, заметно омрачаясь, так что лицо его приняло такое жесткое выражение, на которое за минуту до этого его едва ли можно было считать способным, – именно недалеко время, когда вы увидите яркий и убедительный пример того, о чем я вам говорю. А что касается имени Перине Леклера, подробности о котором известны только незаурядным ученым, то могу сказать вам, что в народе оно еще живо и окружено непримиримой и беспощадной ненавистью, которая говорит в нем тем ожесточеннее, что постыдное преступление его осталось и до сих пор безнаказанным, до сих пор не было искуплено соответствующей казнью, точно даже само провидение действовало на этот раз как усыпленный или подкупленный судья и как бы закрыло глаза, чтобы дать пройти преступнику. Однако пойдем дальше.

Сальватор взял Жана Робера опять под руку.

Поэт покорно шел за странным человеком, которого только случайность сделала его проводником, и вместе с ним очутился среди темных и пустынных улиц.

Между улицей Макон и площадью Сент-Андре-д'Арк Сальватор остановился перед белым и очень опрятным домиком, имевшим всего три окна по уличному фасаду.

Вход был заперт дверью, отделанной под дуб.

Сальватор достал из кармана ключ, видимо, собираясь войти.

– Не правда ли, решено, что мы проведем остаток ночи вместе? – спросил он, обращаясь к Жану Роберу.

– Вы мне это предложили, и я принимаю ваше предложение с удовольствием. Или вы, может быть, передумали?

– Слава богу, нет еще. Но, видите ли, хоть я человек и очень ничтожный, но есть два существа, которые стали бы тревожиться о моем отсутствии, если бы я не вернулся в известный час домой. Два существа эти – женщина и собака.

– Так ступайте и успокойте их, а я подожду вас здесь.

– Что это? Вы отказываетесь войти ко мне из скромности? В таком случае вы ошибаетесь. Я принадлежу к числу тех людей, которые ничего не скрывают и которые, тем не менее, остаются таинственными при полной силе солнечного света. Ведь еще Талейран сказал, что дипломат вернее всего обманет своих противников, если скажет им правду. Я именно такой дипломат, с той только разницей, что мне некого обманывать, потому что мною никто не интересуется.

– В таком случае я скажу, как говорят итальянцы, – «Permesso!» – проговорил Жан Робер, которому ужасно хотелось войти в дом странного комиссионера с улицы Фер.

Дверь отворилась, и молодые люди очутились в галерее.

– Постойте, я посвечу, – сказал Сальватор.

Он вынул из кармана спички и только хотел зажечь одну из них, как наверху лестницы появился свет.

Чей-то мягкий звучный голос проговорил:

– Это ты, Сальватор?

– Да, я, – отвечал молодой человек. – Теперь сами увидите, что не я обманул вас, – прибавил он, оборачиваясь. – Вы увидите женщину и собаку.

Собака явилась первая. Услышав голос хозяина, она слетела с лестницы, как ураган.

Остановившись перед хозяином, она поставила свои передние лапы ему на плечи и, прижавшись головою к его щеке, стала радостно лаять и взвизгивать.

– Ну, ну, хорошо, хорошо, Роланд, пусти меня, – ласково отпихнул ее Сальватор. – Видишь, твоя хозяйка Фражола хочет мне что-то сказать.

Но вдруг собака заметила Жана Робера, продвинула морду через плечо Сальватора и зарычала не то злобно, не то вопросительно.

– Это друг, друг, Роланд, не дури! – сказал ей Сальватор.

Он поцеловал собаку в ее черную косматую голову и, оттолкнув еще раз, прибавил:

– Ну, довольно, пусти!

Роланд посторонился, пропустил мимо себя и Жана Робера, мимоходом обнюхал его, лизнул ему руку и пошел сзади него.

Жан Робер тоже оглядел его. То был великолепный сенбернар. Стоя на задних лапах, он был футов пяти с половиной ростом, а цветом шерсти напоминал льва.

Поднявшись с нижнего этажа на второй, Жан Робер сосредоточил свое внимание на Фражоле.

Это была женщина лет двадцати. Роскошные белокурые волосы ее обрамляли бледное, кроткое лицо, сквозь чрезвычайно нежную кожу которого просвечивал румянец. Свеча в хрустальном подсвечнике, которую она держала в руках, освещала ее большие синие глаза и прекрасные улыбающиеся и полуоткрытые губы, между которыми блестел ряд жемчужных зубов.

Под правым глазом у нее было родимое пятнышко, в известное время года принимавшее цвет земляники. Вероятно, за него и назвали ее поэтическим именем, поразившим Жана Робера.

Появление незнакомца сначала встревожило и ее, как Роланда, но после слов Сальватора – «Это друг», она тоже успокоилась.

Когда он поравнялся с нею, она несколько нагнулась вперед, и он нежно и почтительно поцеловал ее в лоб.

– Друг моего друга – друг и мне! – сказала она, обращаясь к Жану Роберу – милости просим.

В одной руке она продолжала держать свечу, другой обняла шею Сальватора и так вошла в комнату.

Жан Робер пошел за ними.

Но войдя в небольшой зал, служивший, по-видимому, столовой, он скромно остановился.

– Надеюсь, что ты до сих пор не легла не из-за беспокойства, дитя мое, – сказал Сальватор, – а то я, право, не простил бы себе этого.

Он произнес это с оттенком отеческой нежности.

– Нет, – кратко ответила девушка, – но я получила письмо от подруги, о которой иногда рассказывала тебе.

– От какой же именно? – спросил Сальватор. – Ты часто рассказываешь мне о трех.

– Можешь прибавить еще одну. У меня их четыре.

– Верно! Но о которой же говоришь ты теперь?

– О Кармелите.

– С ней случилось какое-нибудь несчастье?

– Да, мне кажется. Мы хотели встретиться завтра во время обедни в Нотр-Дам: она, Лидия, Регина и я, как делаем это каждый год, и вдруг она почему-то назначает нам свидание в семь часов утра.

– Где же это?

Фражола улыбнулась.

– Она просит сохранить это в секрете.

– Ну и храни его, мой прелестный ангел. Ты ведь знаешь мое мнение насчет всяких тайн. Это своего рода святая святых.

Говоря эти слова, Сальватор обернулся к Роберу.

– Через минуту я буду к вашим услугам, – сказал он. – Знаете вы Неаполь?

– Нет. Но года через два собираюсь туда съездить.

– Ну, так займитесь обзором этой столовой. Это очень точная копия со столовой в доме поэта в Помпее. А когда окончите осмотр, побеседуйте с Роландом.

Говоря это, Сальватор вошел с Фражолой в соседнюю комнату и закрыл за собой двери.

Х. Беседа поэта с собакой

Оставшись один, Жан Робер взял свечу и подошел к стене, а Роланд со вздохом удовольствия опустился на толстый ковер, разостланный у той двери, в которой исчезли хозяева, и, по-видимому, бывший его всегдашней постелью.

Несколько минут Жан Робер смотрел на стену и не видел ничего, потому что глаза его были устремлены как бы внутрь, и воспоминания точно заслонили от него то, на что он смотрел.

Перед ним стоял образ девушки, наклонившейся со свечой в руках над темной лестницей, ее золотистые волосы, ее прекрасные глаза, в которых светилось небо даже тогда, когда неба не было видно, ее тонкая, почти прозрачная кожа, подобная лепестку чайной розы, ее грация, которую придает некоторым людям и животным несколько излишне длинная шея. Между людьми примером этой грации служит Рафаэль, между животными – лебедь.

Все в ней казалось ему необыкновенным, даже это родимое пятнышко под глазом, за которое, вероятно, Сальватор дал ей имя Фражола, из которого так легко складывалось сладкозвучное уменьшительное – Фражолетта.

Затем имя «Регина», которое произнесла девушка, вызвало в воображении Жана Робера воспоминание об аристократке, которая, разумеется, не могла иметь ничего общего со скромным мирком, с которым и он столкнулся лишь на мгновение, но который, тем не менее, тотчас заставил зазвучать чуткие струны его поэтической души.

Но мало-помалу завеса воспоминаний начала разрушаться, и он, как сквозь туман, увидел картины, изображенные на стене.

Артистическое чутье брало верх над мечтательностью; воображение отступало перед действительностью. Перед Жаном Робером был образец поразительно точной копии с декоративной живописи древности.

Четыре главные части стены составляли рамы, окруженные кессонами. В каждой раме было по пейзажу, который виднелся как бы сквозь коллонаду перистилия или из окна комнаты.

Кессоны представляли все те фантастические фигуры, которые снова вызвала к жизни археология, – часы дня и ночи, пляшущих стрекоз, правящих двумя улитками, запряженными в колесницу, голубков, пьющих из одной вазы.

Все это было скопировано с поразительной точностью и верностью колорита.

Присутствие таких вещей в доме комиссионера могло бы удивить Жана Робера, если бы и сам Сальватор со всем, что его сколько-нибудь касалось, не был для него предметом беспрерывного удивления.

Он задумчиво поставил свечу на круглый стол, занимавший посреди столовой место не более шести футов в окружности, и сел на ближайший стул.

Взор его бессознательно скользил некоторое время по различным частям обстановки и наконец остановился на собаке.

Ему припомнились слова Сальватора:

– Когда окончите осматривать столовую, побеседуй те с Роландом.

Жан Робер улыбнулся.

Эти слова, которые любой другой мог бы принять за грубую шутку, показались ему совершенно естественным советом и внушили ему еще большую симпатию к новому знакомому.

Жан Робер со своим чистым, нежным и добрым сердцем не допускал мысли, чтобы Бог награждал душою толь ко человека. Он, как восточный поэт или индийский бра мин, склонен был думать, что животное тоже имеет душу, но будто уснувшую или заколдованную. Часто он воображал себе, как при сотворении мира появлению человека предшествовало создание младших его братьев: зверей и даже растений, и ему казалось, что именно эти прежде явив-

шиеся младшие братья и были наставниками и воспитателями. Ему думалось, что они своим, уже окрепшим инстинктом вели еще шаткий разум человека и что с на шей стороны теперь несправедливо презирать их.

– Побеседуйте с Роландом.

Он оторвался от своих размышлений и окликнул со баку.

При звуке своего имени, произнесенного с привычной охотничьей интонацией, Роланд, который лежал, про тянув морду вдоль лап, поднял голову.

Жан Робер позвал его еще раз и хлопнул себя по колену.

Роланд поднялся на передние лапы и сел в позе сфинкса.

Жан Робер окликнул его в третий раз.

Роланд встал, подошел к нему, положил свою голову к нему на колени и дружески взглянул на него.

– Что, милый? – ласково спросил поэт.

Роланд провизжал не то жалобно, не то дружественно.

– Ага! Кажется, твой хозяин Сальватор сказал правду! Мне сдается, что мы пойдем друг друга.

При имени Сальватора пес коротко пролаял с видимым удовольствием и оглянулся на дверь.

– Да, да, он там, в той комнате, с твоей хозяйкой. Верно? Так ведь?

Роланд подошел к двери, приложил морду к щели, образовавшейся между нижним ее краем и полом, и шумливо втянул в себя воздух, потом вернулся к Жану Роберу, положил ему свою голову опять на колени и закрыл свои умные, почти человеческие глаза.

– Ну-ка, посмотрим, кто такие были твои родители, – сказал Робер. – Дай-ка сюда лапу.

Пес поднял лапу и с удивительной осторожностью опустил ее в руку поэта.

Тот раздвинул и пристально осмотрел его пальцы.

– Ну, да, я так и думал, – заметил он. – Ну, а лет тебе сколько?

Он поднял губу Роланда, под которой оказалось два ряда страшных, белых, как слоновая кость, зубов; но в глубине пасти челюсти уже заметно ослабли.

– Так! – сказал Робер. – Мы с тобой, Роланд, уже не первой молодости. Если бы мы были дамами, то уже лет десять скрывали бы свои года.

Пес сидел перед ним невозмутимо. Ему, очевидно, было совершенно безразлично, знал ли Жан Робер его настоящий возраст или нет, а тот продолжал свой бесцеремонный осмотр, сиюсь найти подробность, которая более заинтересовала бы самого его косматого собеседника.

Через несколько минут он напал именно на то, что искал.

Шерсть у Роланда напоминала львиную и только на животе была несколько длиннее и курчавее. Но на правом боку Жан Робер заметил между четвертым и пятым ребром белый клочок.

– Что ж это у тебя такое, мой бедный Роланд? – спросил он, нажимая на эту точку пальцем.

Роланд слегка взвыл.

– Эге! Это рана! – проговорил Робер.

Он знал, что возле ран или на рубцах, которые от них остаются, окрашивающие шерсть масла теряют свою силу и что на конских заводах, пользуясь этим обстоятельством, делают лошадям белые звездочки на лбах, прикладывая к ним раскаленное железо.

Но у собаки была скорее рана, чем ожог, потому что под пальцем складки шрама выступали довольно чувствительно.

Жан Робер принялся внимательно осматривать другой бок.

Там оказался точно такой же след, с той только разницей, что он приходился несколько ниже.

Робер и его нажал пальцем, а Роланд взвизгнул на этот раз несколько сильнее прежнего. Рана была, как оказалось, сквозная.

– А, мой милый! – вскричал поэт, – значит, ты воевал, как и твой великий тезка.

Роланд поднял голову и пролаял так грозно, что Робер невольно вздрогнул.

Этот ответ добродушного пса заставил Сальватора выйти из спальни.

– Что у вас тут случилось? – спросил он.

– Ничего особенного... Вы посоветовали мне побеседовать с ним, – ответил Жан Робер, смеясь. – Я стал расспрашивать о его истории, и он только что собрался мне рассказать ее.

– Ну, и что же рассказал он вам? Это в самом деле становится любопытно. Нужно же узнать о нем, наконец, правду.

– Да зачем же стал бы он лгать? – возразил Жан Робер. – Ведь он не человек.

– Тем больше основания, чтобы вы повторили мне ваш разговор! – вскричал Сальватор с нетерпением, в ко тором слышалась и тревога.

– Извольте. Вот вам наш разговор с Роландом слово в слово: я спросил его, чей он сын. От ответил мне, что он помесь сенбернара с ньюфаундлендом. Я спросил, сколь ко ему лет, он ответил – девять или десять. Я спросил, что значат белые пятна у него на боках; он ответил, что это след пули, которая переломила ему ребро и вышла сквозь левый бок.

– Все совершенно верно! – подтвердил Сальватор.

– И доказывает вам, что я наблюдатель, достойный ваших уроков.

– Это доказывает, по-моему, просто только то, что вы охотник, а следовательно, по перепонкам, которые есть между пальцами у Роланда, и по его шерсти вам нетрудно было узнать, что он помесь водолаза с горной собакой. Вы посмотрели ему в зубы и по цвету десен увидели, что он уже не молод. Вы пощупали два пятна у него на боках и по неровностям на коже и по вогнутости кости узнали, что пуля вошла через правый бок, а вышла через левый. Верно я вас понял?

– До того верно, что я чувствую себя уничтоженным.

– А больше этого он не сказал вам ничего?

– Вы вошли именно в тот момент, когда он сказал мне, что помнит свою рану и при случае, наверно, узнает и того, кто ее нанес ему. Рассказать же мне все остальное, я попрошу уже вас.

– К сожалению, я и сам знаю не больше вашего.

– Неужели?!

– Да. Лет пять тому назад я охотился в окрестностях Парижа...

– Охотились в окрестностях Парижа?!

– То есть, вернее, браконьерствовал... Ведь комиссионерам прав на охоту не полагается. Я нашел этого пса в канаве, он был прострелен навывлет, лежал весь в крови и едва дышал. Красота его меня просто поразила. Мне стало жаль его. Я донес его до ручья и обмыл ему рану водой с водкой. От этого он точно ожил. Мне подумалось, что если хозяин решился оставить его в таком положении, то значит, не особенно дорожил им, и мне захотелось взять его себе. Мимо проезжала телега на рынок, я уложил его на нее и отвез домой. С того же вечера я стал лечить его так, как лечили у нас в Валь-де-Грасе раненых людей; мне удалось его вылечить, и вот и все, что я сам знаю о Роланде. Впрочем, нет, виноват, я забыл прибавить, что с тех пор он относится ко мне с беспредельной преданностью и готов дать убить себя за людей, которые мне дороги. Так ведь, Роланд?

При этом обращении пес весело залаял и опять оперся передними лапами на плечи хозяина.

– Ну, хорошо, хорошо! – сказал Сальватор. – Ты у меня хороший, честный пес! Я это знаю, знаю! А теперь лапы долой!

Роланд покорно опустился на пол, отошел и улегся на прежнее место вдоль дверей.

– Хотите отправиться со мной сейчас же? – спросил Сальватор, обращаясь к Жану Роберу.

– С радостью! Хотя, право, я боюсь стеснить вас.

– Это чем?

– Мадемуазель Фражола хотела идти куда-то сегодня утром, и, стало быть, вам нужно проводить ее.

– Нет! Ведь вы же сами слышали, что она не может даже сказать мне, куда идет.

– И вы не боитесь так отпускать ее совершенно одну, да еще в такие места, которых она не хочет даже назвать? – смеясь, спросил Жан Робер.

– Дорогой поэт, знайте, что там, где нет доверия, нет и любви. Я люблю Фражолу всеми силами моего сердца и, кажется, скорее заподозрю мою родную мать, чем ее.

– Прекрасно, но для молодой девушки вообще опасно выезжать так рано за город с одним только кучером.

– Совершенно верно, но ведь с нею будет Роланд, а под его защитой я отпущу ее одну хоть на край света.

– Вот это другое дело.

Жан Робер не без некоторого щегольства закутался в свой плащ.

– Ах, да, кстати, – сказал он. – Мне показалось, что мадемуазель Фражола упомянула имя Регины.

– Да.

– Это имя необыкновенное. Я знал дочь маршала Ламот Гудана. Ее тоже звали так.

– Да это она и есть подруга Фражолы... Отправимся.

Жан Робер молча пошел за своим проводником.

Этот человек удивлял его все больше и больше.

XI. Душа и тело

В те несколько минут, которые Сальватор провел в спальне, он полностью переоделся.

Теперь вместо оригинального и изящного черного бархатного костюма на нем был белый косматый казакин, пестрый жилет, застегнутый доверху, и темные панталоны. В этом костюме невозможно было бы определить, к какому классу он принадлежал. Это можно было узнать по тому, как он надевал шляпу: если он надвигал ее на ухо, то казался принарядившимся ремесленником, а если надевал ее прямо, то имел вид небрежно одетого светского человека.

Жан Робер, пристально наблюдавший за всем, за метил и этот тонкий оттенок.

– Куда хотите вы отправиться? – спросил Сальватор, выходя на улицу и запирая дверь своего дома.

– Куда вы полагаете лучше. Ведь вы обещали быть моим проводником сегодняшней ночью.

– Так поступим же, как поступали древние, – ответил Сальватор, – бросим перо по ветру и, в которую сторону он отнесет его, туда мы и направимся.

Сальватор вырвал листок из своей записной книжки и подбросил его на воздух. Ветер подхватил его и понес в сторону улицы Пупе.

Следуя за ним, друзья дошли до улицы Ла-Гарп.

Здесь они бросили вторую бумажку, и она привела их к улице Сен-Жак.

Они шли, сами не зная куда, полагаясь на случайность, без цели, без направления, обмениваясь мыслями и впечатлениями еще свежих и сильных душ.

Жан Робер несколько раз пытался проникнуть в тай ну жизни странного молодого человека, но Сальватор каждый раз ловко увертывался от него, как лисица увертывается на охоте от преследующей ее гончей.

Наконец, когда Жан Робер поставил свой вопрос прямо, он сказал ему:

– Ведь мы вышли с вами искать роман, – не правда ли? А то, до чего вы доискиваетесь теперь, есть роман уже оконченный. Если бы я уступил вашей просьбе, то это значило бы, что я веду вас назад. Так лучше пойдемте вперед.

Жан Робер понял, что он твердо решил остаться неизвестным, и перестал настаивать.

Кроме того, мысли их приняли скоро другое направление, благодаря одной случайности.

Несколько мужчин и женщин толпились около какого-то человека, лежавшего на мостовой.

– Он пьян! – говорили одни.

– Нет, он умирает! – возражали другие.

Человек продолжал хрипеть.

Сальватор растолкал толпу, опустился возле него на колени, приподнял его голову, заглянул ему в лицо и, обращаясь к Жану Роберу, сказал:

– Это Варфоломей Лелон. У него прилив крови к мозгу, и если я сейчас же не пушу ему кровь, то он умрет. Здесь должна быть где-то аптека, сходите туда. Аптекари должны вставать в любое время.

Жан Робер осмотрелся. Сами того не замечая, они дошли до середины предместья Сен-Жак и были невдалеке от больницы Кошен.

Напротив госпиталя красовалась вывеска:

Аптека Луи Рено.

До имени аптекаря ему, впрочем, не было никакого дела, – лишь бы он поскорее открыл. Он громко и сильно постучался.

Минут через пять дверь со скрипом отворилась, и в амбразуре появилась фигура Луи Рено в ночном бумажном колпаке.

Он спросил Жана Робера, что ему нужно.

– Приготовьте таз и перевязок, – ответил тот. – Там на улице лежит человек, которому грозит удар. Ему необходимо пустить кровь.

В это время внесли больного, который был совершенно без сознания.

– А есть с вами доктор? – спросил Луи Рено. – Я пускать кровь не умею, и вообще, я, скорее, травник, чем аптекарь.

– Об этом не беспокойтесь, – возразил Сальватор. – Я учился хирургии и сделаю все, что будет нужно.

– Да у меня и ланцетов нет.

– У меня мой футляр с собою.

Толпа мало-помалу заполнила аптеку.

– Господа, хотите вы быть полезны этому человеку? – спросил Сальватор.

– Известное дело – хотим, господин Сальватор, – отвечали зрители, протягивая руки.

– Тогда у меня к вам просьба: пока я стану пускать ему кровь, сходите в больницу, достучитесь там и предупредите, что сейчас принесут больного.

Трое или четверо из толпы ушли с человеком, с которым разговаривал Сальватор.

Между тем остальные с помощью аптекаря развязали галстук бедного Жана Быка, сняли с него казакин и стащили с одной руки рукав рубашки.

Жилы на шее были до того напряжены, что казалось, они вот-вот лопнут.

– Нужно перевязать руку? – спросил Жан Робер.

– А есть готовые перевязки? – обратился Сальватор к аптекарю.

– Пойду поищу, – ответил Луи Рено.

– Сожмите руку крепче над локтем, мосье Робер, – сказал Сальватор. – Я надеюсь, что и этого будет достаточно.

Робер нагнулся и сделал то, что ему поручили. Один из толпы взял руку за кисть, другой держал таз, третий – лампу.

– Смотрите, не потеряйте из виду артерию, – проговорил Жан Робер с тревогой.

– О! Не беспокойтесь! – ответил Сальватор. – Мне не раз приходилось пускать кровь по ночам при одном свете луны или уличного фонаря. Эти вещи очень часто случаются с бедняками, особенно, когда они выходят из кабаков.

Он еще не договорил, как прикоснулся к руке Жана Быка ланцетом, и из нее хлынула кровь.

– Черт возьми! – продолжал он, покачивая голо вой, – чуть-чуть не опоздал!

Всю операцию он произвел с быстротой и ловкостью привычного практика.

Жан Бык вздохнул.

– Скажите мне, когда крови выйдет достаточно, – проговорил возвратившийся аптекарь.

– У него ее можно выпустить сколько хочешь, не жалея, – ответил Сальватор. – Он на малокровие пожаловаться не может. Оставьте, оставьте, пусть течет.

Когда крови натекло около двух тазов, Жан открыл глаза.

Поначалу взгляд его был мутным и как бы бессознательным, но затем глаза его мало-помалу прояснились и уставились на хирурга-любителя.

– А! Господин Сальватор! – проговорил он. – Это хорошо! Бог мне свидетель, я рад вас видеть.

– Тем лучше, тем лучше, мой милый! – ответил молодой человек. – И я тоже рад вас видеть! А ведь чуть было не лишился я этого удовольствия навсегда.

– Гм! Значит, это вы пустили мне кровь? – спросил Жан, все больше и больше приходя в себя.

– Да, да, я, – говорил Сальватор, тщательно вытирая ланцет и укладывая его обратно в футляр.

– Значит, вы не хотели, чтобы я умер?

– Я? Да с чего же бы мне этого хотеть?

– Когда вы меня сбросили с лестницы, я думал, что это всегда делают, чтобы убить человека.

– Полноте! Вы просто с ума сошли!

– Нет, я очень хорошо понимаю, что можно убить человека, когда он вас взбесит, а я вас взбесил тем, что не хотел открыть окно. А только вы сами рассудите, если я сам требовал, чтобы его заперли, то как же было мне идти самому же и отпирать его, хоть вы мне это приказали? Ведь это ж значило бы осрамиться в моих собственных глазах! А эти фертики еще стоят да смеются!

– Один из этих франтиков помог мне спасти вас от смерти, Варфоломей. Из этого вы видите, что и они вам зла не хотели.

Жан Бык повернул голову, взглянул на Жана Робера и улыбнулся.

– А ведь и в самом деле! – вскричал он.

Жан Робер протянул ему руку.

– Ну, полно, забудем ссору! – сказал он добро душно.

– О! Я человек не злопамятный! – ответил Варфоломей, – и если вы сами протягиваете мне руку...

– Да я и раньше с этого бы начал, – ответил поэт, – но признайтесь, что вы сами этого не хотели.

– Это правда! – согласился Варфоломей, хмуря брови. – Глупы мы, по правде сказать! Накликать на себя вот такую беду из-за того, что женщина... Да вы только поймите, господин Сальватор, ведь она опять вернулась от Бобино с этим капельным уродом. А я все-таки не могу расколотить его вдребезги, и он этим пользуется!.. О, она знает, эта несчастная, что делает, если не хочет взять человека!..

– Полно, полно, успокойтесь, Варфоломей.

– Да, вам это легко говорить. Вы живете с ангелом, господин Сальватор! Вы этого и стоите, потому что толь ко затем и живете, чтобы делать добро другим, а чтобы сделать вам зло, надо быть настоящим извергом!.. Ну, да и про себя скажу, я хоть и стар, а отец я хороший и вовсе не заслуживаю, чтобы у меня отнимали мою девочку. Вот уже целых три дня я, как сумасшедший, разыскиваю своего ребенка. Она, наверное, запрятала ее где-нибудь у своей мошенницы-матери... а ведь к той не пойдешь да не обманишь! Она вон что теперь при думала: как только меня увидит, так и принимается кричать благим матом, что ее хотят убить! До того ведь дело дошло, что я из-за нее уже две ночи в зале Сен-Мортен ночевал. Ну, да это-то еще бог бы с ним, я не прочь проночевать так хоть пять, хоть десять ночей, лишь бы опять увидеть мою девочку!.. Ведь истинный она херувимчик!.. В Ива́нов день два годочка исполнится.

И колосс заплакал, как женщина.

– Ну, и что я вам говорил? – спросил Сальватор, обращаясь к Жану Роберу, который с удивлением следил за всей этой странной сценой.

– Да, правда! – ответил он.

– Ну, слушай, Варфоломей, тебе отдадут твою дочку, – сказал Сальватор больному.

– Вы их заставите, господин Сальватор?

– Обещаю тебе это.

– Ну, да, да!.. Простите!.. Я совсем одурел!.. Ведь уж если вы сказали, то так тому и быть! Ах, сделайте это, господин Сальватор... сделайте. Тогда, вот ей-богу же, я не заставлю вас

больше трудиться кидать меня с лестницы. Тогда вы только скажите мне: «Жан Бык, кинься с лестницы» – я сейчас и кинусь.

– Господин Сальватор, – сказал, входя в аптеку, человек, который ходил в больницу, – там все готово, от крыто.

– Это уж не для меня ли? – спросил Варфоломей.

– Что ж? Разве это тебе не нравится? – сказал Сальватор.

– Нет. Я туда не пойду.

– То есть как же это?

– Я не люблю больниц. Они годятся только для всякой дряни да для нищих, а я, слава богу, еще достаточно богат, чтобы лечиться на свой счет и лежать в своем углу.

– Все это очень хорошо, только у тебя не станут так хорошо ухаживать. Дома ты и поешь не вовремя, и выйдешь некстати; ну, а если человек дома так хорошо угостит себя раза три или четыре, да потом попадает в больницу, уже поневоле и не выходит оттуда никогда. Полно, не дурачься, Варфоломей.

– Нет, не хочу я в больницу! Как хотите, не пойду!

– Ну, хорошо, тогда отправляйся домой и ищи свою дочку, как знаешь. Ты мне надоел, наконец!

– Господин Сальватор, я пойду туда, куда вы прикажете!.. Где эта больница, господин Сальватор? Я туда с радостью!.. Ну, ну... где ж она?

– Вот так-то лучше, Варфоломей.

– Ну, а вы ведь возьмете у нее мою маленькую Фифиночку?

– Обещаю тебе, что не пройдет трех дней и ты узнаешь, где она.

– Ах ты, господи! А что я стану делать в эти три дня?

– Ты будешь лежать спокойно.

– Ну, а раньше-то, пораньше разве нельзя узнать о ней, господин Сальватор?

– Будет сделано все, что возможно. А теперь ступай, с богом.

– Иду, иду, господин Сальватор! Вишь ты, ведь как смешно! Ноги точно не мои... Не слушаются!

Сальватор махнул рукой. Двое мужчин подошли к Варфоломею и подхватили его.

– Ну вот, ну вот я и ушел, господин Сальватор, – слабым, разбитым голосом лепетал великан. – А вы не за будьте, что дня через три обещали известить меня, где моя девочка.

Дойдя до противоположной стороны улицы, до дверей больницы, которые должны были закрыться за ним, он еще раз крикнул:

– Так не забудьте же мою Фифиночку, господин Сальватор.

– Ваша правда, – проговорил Жан Робер. – Людей следует наблюдать не в кабаке.

XII. Во дворе аптекаря

Операция кровопускания была закончена, больной от правлен в больницу, и молодым людям оставалось толь ко уйти, утешая себя мыслью, что если бы им не пришла фантазия бродить по улицам Парижа в три часа ночи, то умер бы человек, которому предстояло, может быть, прожить еще тридцать или сорок лет на свете.

Но, прежде чем уйти, Сальватор попросил у аптекаря таз и воды, чтобы вымыть свои испачканные кровью руки.

Вода, которую ему подали, была обыкновенная; но таз представлял в аптекарском обиходе своего рода ред кость. Тот, в который Сальватор выпустил кровь Жана Быка, оказался единственным, а хирург-дилетант настаивал, чтобы кровь эту непременно сохранили и показали доктору, который станет лечить больного.

Аптекарь огляделся вокруг и сказал:

– Черт возьми! Если вы хотите вымыть себе руки, так ступайте во двор и вымойтесь под краном... Там и воды больше.

Сальватор беспрекословно согласился. Несколько капель крови попало и на руки Жана Робера, а потому и он пошел за ним.

Но на пороге двора оба остановились.

Среди тишины прекрасной лунной ночи до них доносились откуда-то волшебные звуки музыки.

Откуда лились они? Рядом со двором высилась мрачная каменная стена монастыря. Может быть, то был западный ветер, который, проникая под своды храма, выносил оттуда сладкие и стройные звуки органа и улаждал ими слух редких прохожих улицы Сен-Жак.

Уж не сама ли святая Сесилия слетела с небес, чтобы ознаменовать в святой обители наступление Великого Поста? Или то были души юных послушниц, умерших в ангельском возрасте, которые возносились к небесам под звуки райских арф?

Действительно, мелодия, доносившаяся до слуха молодых наблюдателей, не походила ни на оперную арию, ни на песни юного музыканта, возвращающегося с маскарада. То был не то хвалебный гимн, не то песнь покаяния, а вернее, отрывок какой-то древнебиблейской духовной пьесы. То была песнь Рахили, оплакивающей сынов своих, павших в Риме, и не желающей внимать утешениям, потому что они погибли.

Если бы человеку, обладающему чутьем и пониманием, предложили дать этим звукам название, он, наверное, не задумываясь назвал бы их «Покорностью». Однако ни одно название не выразило бы этого в полной мере. Но, так или иначе, они в высшей степени располагали слушателя в пользу музыканта.

Можно было поручиться, что он был так же грустен и кроток, как его музыка, и обоим молодым людям это пришло в голову в один и тот же момент.

Они начали с того, что сделали то, зачем пришли: вымыли руки, а затем решились во что бы то ни стало отыскать таинственного и талантливого музыканта.

Когда они умылись, аптекарь подал им полотенце, а Жан Робер дал ему в награду пять франков.

За эту цену Луи Рено согласился бы, чтобы его будили ночью хоть через каждый час.

Он рассыпался в благодарностях.

Жан Робер попросил у него позволения остаться во дворе еще несколько минут, чтобы дослушать этот жалобный мотив, который развивался с неистощимостью вдохновенной импровизации.

– Да, оставайтесь, сколько вам угодно! – ответил аптекарь.

– Но вы-то сами? – спросил Жан Робер.

– О! Меня это ничуть не стесняет! Я запру дверь и улягусь спать.

– Ну, а мы-то? Как же мы потом выйдем?

– Калитка на улицу запирается только на задвижку и щеколду. Вам только стоит поднять щеколду – и вы на улице.

– А кто же запрет за нами?

– Это калитку-то? О! Хотелось бы мне иметь столько тысяч доходу, сколько раз она остается незапертой!

– В таком случае все обстоит благополучно.

– Да, да, да! – подтвердил аптекарь в восторге.

Он вошел в дом, запер за собой дверь и предоставил молодым людям полную свободу.

Между тем Сальватор подошел к одному из окон нижнего этажа, сквозь ставни которого пробивался свет.

Волшебно-грустные звуки слышались именно оттуда.

Сальватор потянул ставни к себе, оказалось, что они не заперты изнутри и легко открываются.

Оконные занавеси были спущены, но сквозь оставшуюся между ними щель виднелась внутренность комнаты, посреди которой на довольно высоком табурете сидел молодой человек и играл на виолончели.

Перед ним на пюпитре лежала раскрытая нотная тетрадь, но он не смотрел в нее и даже, по-видимому, сам не сознавал того, что играет. Во всей фигуре его сказывалось состояние духа человека, глубоко ушедшего в свои мысли. Рука его бессознательно водила смычком, но мысли были, очевидно, далеко.

Казалось, в сердце его происходила тяжелая душевная борьба – борьба боли со страданием. Временами чело его омрачалось, и он продолжал извлекать из инструмента самые жалобные звуки. Вдруг виолончель, как человек, терзаемый агонией, издала ужасный, раздирающий душу крик, и смычок выпал из его рук. Он плакал.

Две крупные слезы сбежали по его щекам.

Музыкант достал платок, отер глаза, снова положил его в карман, нагнулся, поднял смычок, положил его на струны и опять заиграл именно с того места, на котором оборвал мелодию.

Сердце было побеждено, а дух величаво возносился над личным страданием.

– Вот вам роман, который вы искали, дорогой поэт, он в этом бедном доме, в этом страждущем человеке и рыдающей виолончели.

– А вы знаете этого человека?

– Я? Нисколько! – ответил Сальватор. – Я никогда не видел его и даже не знаю, как его зовут. Но мне вовсе и не нужно знать его для того, чтобы сказать вам, что в нем олицетворяется одна из самых мрачных страниц истории человеческого сердца. Человек, который утирает слезы и снова берется за дело с такой простотой, наверно, сильный. Я могу в этом поклясться! А для того, чтобы такой человек заплакал, необходимо, чтобы страдание было невыносимо. Хотите? Войдем и попросим его рассказать нам, что его мучит.

– Послушайте! Да ведь это же просто невозможно! – вскричал Жан Робер, останавливая его.

– Напротив, я нахожу это больше чем возможным, – ответил Сальватор, подходя к двери и отыскивая молоток.

– И вы думаете, – продолжал Жан Робер, еще раз останавливая его, – вы думаете, что он расскажет о своем горе каждому, кому вздумается о нем расспрашивать?

– Во-первых, мы не «каждые», мосье Робер... Мы...

Сальватор остановился. Жан Робер обрадовался, рассчитывая услышать такое, что дало бы ему возможность узнать что-нибудь о прошедшей жизни своего таинственного товарища.

– Мы философы, – закончил Сальватор.

– Ах, да, философы!.. – повторил несколько растерявшийся Робер.

– Кроме того, – продолжал Сальватор, – мы не похожи ни на пьяных бакалавров, ни на расшалившихся студентов, ни на сплетничающих буржуа. Звание порядочных людей у нас на лбах написано. Не знаю, какое впечатление произвел я на вас, но я вполне уверен, что каждый, кто только увидит вас, хотя бы даже впервые, так же охотно сообщит вам свою тайну, как я протягиваю вам руку.

И он пожал руку Жана Робера, точно выдавая ему диплом порядочности.

– Итак, пойдем смело, – продолжал он. – Все люди – братья и обязаны помогать друг другу. Все горести – сестры и должны сочувствовать одна другой.

Эти последние слова он произнес с глубокой грустью.

– Ну, если хотите, то войдем, – сказал Жан Робер.

– Как неуверенно вы это сказали! Разве я недостаточно разбил ваши сомнения?

– Нет, не то... Но я все-таки далеко не так уверен, как вы, что музыкант этот будет доволен нашим приходом.

– Он страдает, а следовательно, у него есть потребность жаловаться, – наставительным тоном произнес Сальватор. – И мы будем для него посланниками божьими. Человеку, доведенному до отчаяния, терять уже нечего, и, делясь своим горем, он может только выиграть. Говоря откровенно, теперь меня влечет к этому человеку уже не любопытство, а обязанность.

Не дожидаясь ответа Жана Робера и не найдя ни звонка, ни молотка, Сальватор по-масонски постучал три раза в дверь.

Между тем Жан Робер через окно наблюдал за впечатлением, которое это произведет на виолончелиста...

Тот встал, положил смычок на табурет, прислонил инструмент к стене и направился к двери без малейшего признака удивления.

Это спокойствие вполне совпадало с мнением, высказанным Сальватором.

Этот человек или ждал кого-то, или ему было все равно, кто бы ни пришел.

Да, было очевидно, что все дела мира стали ему настолько чужды, что уже ничто не могло удивить его, а поэтому и к приходу ночных посетителей он отнесся без удовольствия, но и без досады.

– С кем имею честь говорить? – спросил он, увидев Сальватора и Жана Робера.

– С незнакомыми вам друзьями вашими, – ответил Сальватор.

Виолончелист, по-видимому, довольствовался этим ответом.

– Войдите, – сказал он, почти не обращая внимания на всю странность этого посещения и данного ему объяснения.

Они пошли за ним. Жан Робер, вошедший последним, запер за собой дверь. Они очутились в той самой комнате, в которой сидел виолончелист, когда они наблюдали за ним через окно.

Эта комната поражала простотой, которая придавала ей особенную прелесть. Белые стены были безукоризненно чисты, точно в келье монахини, а обстановка – как в спальне молоденькой девушки. Даже странно было видеть в ней молодого человека. Невольно возникала мысль, что за белой кисейной занавеской сладко спит прелестная девочка, а маленькие букетики роз поставлены в хрустальные стаканы ее нежной ручкой. Очевидно, или виолончелист зашел сюда случайно, или жил здесь с сестрой.

Вся комната производила своей изящной чистотой такое впечатление, что казалось, будто здесь могла жить именно только сестра. Женщины, уже покоровившиеся греху, в таких комнатах не живут.

Но все эти впечатления молодых людей объяснялись очень просто. В комнате действительно жил молодой человек, но обустраивала и убирала ее его сестра.

Но почему же тосковал он так в своем веселом уголке?

Виолончелист пригласил их сесть, и они начали с того, что объяснили причину своего прихода.

– Позвольте мне прежде всего предложить вам один вопрос, – начал Сальватор. – Вы, очевидно, огорчены чем-то. Скажите, возможно ли для сил человеческих уничтожить причину вашего горя?

Виолончелист взглянул на него с тем же равнодушием, с каким отпер дверь в три часа ночи, даже не спросив перед тем, кто стучался.

– Нет, – ответил он просто.

– В таком случае нам остается только уйти, – сказал Сальватор. – Но мне все-таки хотелось бы объяснить вам, почему мы позволили себе вас беспокоить. Этот господин, – продолжал он, указывая на Жана Робера, – собирается писать книгу о человеческих страданиях и изучает этот вопрос всегда и везде, где только для этого представляется случай. Войдя во двор этого дома, мы услышали вашу игру, подошли к вашему окну и увидели, что вы плачете.

Молодой человек вздохнул.

Сальватор продолжал:

– Какова бы ни была причина этого горя, слезы ваши глубоко тронули нас обоих, и мы пришли предложить вам наши кошельки, если вы бедны, наши руки, если вы слабы, наши сердца, если вы огорчены.

На глазах виолончелиста опять заблестели слезы, но на этот раз они были вызваны чувством благодарности.

В словах Сальватора, в тоне, которым они были сказаны, наконец, во всем существе этого прекрасного молодого человека было столько величия, простоты, глубокой любви к ближнему, что он увлекал окружающих даже против их воли.

Поддаваясь этому обаянию, виолончелист горячо пожал его руки.

– Я одобряю тех людей, которые скрывают свои раны от ближних, – сказал он. – Но показывать их братьям, значит, научить их, как избежать этих ран. Сядьте, братья, и выслушайте меня.

Молодые люди устроились каждый по-своему. Жан Робер бросился в кресло, а Сальватор остался стоять, прислонясь к стене.

Виолончелист вздохнул, призадумался, потом начал свой рассказ.

ХІІІ. Ученик и его учитель

Этот человек был настолько порядочен и скромен, что, передавая свою историю, умалчивал о многих подробностях, которые, тем не менее, так характерны, что для полного понимания его личности, безусловно, необходимы. Из-за этого мы вынуждены повести его рассказ уже от своего имени, приводя все те факты, упоминать о которых он считал недостойным себя самохвальством.

За семь лет до посещения этой комнаты Сальватором она имела совершенно иной вид.

Вместо белых кисейных занавесок, которые скрывали кровать и придавали алькову вид капеллы, вместо гипсовой статуэтки Богоматери на камине, как бы благословляющей присутствующих своими распростертыми руками, вместо свечей в прекрасных подсвечниках здесь была одна тьма, сырость и запустелость старых мрачных стен, не оклеенных даже обоями.

Единственным украшением этого печального жилища была копия «Меланхолии» Альбрехта Дюрера и висевшее против нее четырехугольное зеркало в простой раме, с двумя усохшими и привязанными крест-накрест ветками. Задняя половина комнаты была скрыта за зеленой саржевой занавеской, которая была прибита к одной из балок потолка и спускалась до плит, заменявших пол. Не было сомнения, что она скрывала за собою какое-нибудь жалкое, нищенское ложе.

Одним словом, эта комната представляла одно из самых убогих и печальных убежищ в цивилизованном мире. При взгляде на него невольно сжималось сердце, и глаз нигде не находил отрадного предмета. Стены были темны и сыры, потолочные балки безобразно выгнулись под тяжестью, которая давила их уже целых триста лет, воздух был сырой и спертый. Это было нечто среднее между кельей схимника и казематом беснующегося умалишенного.

За исключением старого дубового стола, черной классной доски и старого пюпитра, на котором лежала толстая нотная тетрадь сочинений Генделя или псалмов Марчелло, да длинной скамейки человек на восемь или десять и одного соломенного стула, комната была совершенно пуста.

Обитателем этого убогого жилища был бедный школьный учитель квартала Св. Якова.

В 1820 году благодаря терпению, трудолюбию и выносливости ему удалось основать в предместье школу.

За жалкие пять франков в месяц, которые ему вы плачивали и то неисправно, он обязывался обучать чтению, письму, закону Божьему и четырем правилам арифметики, но, в сущности, учил гораздо большему.

Он был сын провинциального фермера. С десяти лет его стали посылать в колледж Св. Людовика, и как только он несколько освоился с книгами, его наставники, добросовестно относившиеся к своему делу, признали за ним исключительные дарования и желание учиться.

Один из них был хороший скромный человек, с юным любящим сердцем, который, если бы на него приветливо глянуло солнце, был бы одним из видных столпов своего отечества, и только потому, что неприглядно сложилась судьба, зачах под сырыми стенами провинциального колледжа. Через год после поступления нового ученика он горячо привязался к нему, как отец к своему Вениамину.

Он также тридцать лет тому назад пришел в Париж, потому что родом был тоже из глубокой провинции, и тоже чувствовал себя чужим среди мирка, составляющего колледж. Он был беден, а вокруг него жили и обучались сыновья знатных фамилий и богачей, так что как бы единственным человеческим существом, способным понять его, являлся этот ребенок, так напоминавший ему его собственную судьбу и также часто вздыхавший о зеленеющих лугах отцовской фермы.

Эта общность бедности, талантливости и одиночества скоро внушила учителю глубокую симпатию к ученику, к маленькому Жюстену, как его называли.

Передавая ему первые начала науки, он старался смягчить их сухость и горечь, устранял от него острия шипов и жгучесть крапивы и вообще не щадил труда и изобретательности, чтобы облегчить ему доступ в эту неизвестную и таинственную страну знаний.

Со своей стороны и Жюстен скоро почувствовал в отношении к учителю горячую привязанность почтительного сына.

Как только раздавался звонок на перемену, он запирали свои тетрадки и книги, и потому ли, что у него не было товарища одних с ним лет, или потому, что ему не нравились школьные забавы, или же, наконец, потому, что самым симпатичным человеком в этом мире был для него старый профессор, он одним прыжком перескакивал через двор, оказывался в его комнате и между ними начинались самые душевные разговоры.

Они говорили то об истории, то о мифологии, то о путешествиях, то о творениях древних поэтов или о произведениях современных художников.

В мрачную и сырую комнату вдруг точно врвался веселый солнечный луч, приносящий с собою воспоминание о раздольных полях, об аромате лесов и о стихах Гомера и Вергилия, этих двух великих жрецов природы. Старик восхищался поэзией через природу и заставлял ребенка изучать природу через поэтическое мироощущение великих писателей.

Особенное наслаждение и свободу приносили воскресные дни.

В эти дни можно было долго, без перерыва оставаться вместе, – зимою – в уголке у камина, летом – под зелеными сводами Версальского, Медонского леса или Монморанси.

Этого дня оба ожидали в течение целой недели и заранее обдумывали свои беседы по поводу какого-нибудь вопроса.

В одно из воскресений к старому профессору приезжал один из его друзей, в другое – они вместе пере читывали старое семейное письмо, в третье – толковали о сельской жизни; но, так или иначе, разговор между ними бывал всегда поучительный, интересный и душевный.

Если иногда, – а это случалось всего два-три раза в году, – учителя приглашали участвовать в какой-нибудь церемонии или на парадный обед к поставщикам или высшим чинам университета, куда ему нельзя было взять с собою и Жюстена, ребенок проводил воскресенье с одним из бедных и одиноких товарищей, которые, однако, поголовно уступали ему в уме и познаниях.

Этот мальчик был почти единственным близким ему человеком в колледже, и сложилось это вовсе не потому, что все остальные сверстники были ему антипатичны. Напротив, он был готов любить их всех, но они сами отталкивали его от себя.

Имущественное неравенство сказывается даже на школьной скамье, и два школьника, расхаживающие обнявшись по двору или саду школы, наверняка или оба богаты, или оба бедны.

Однажды учитель Жюстена высказался перед ним совершенно по-новому.

Он уже давно готовил для него сюрприз, полный неожиданности и глубокой нежности. Комната, в которой жил добрейший старик Мюллер, – так звали профессора – приходилась над лазаретом колледжа. Пол в ней был так тонок, что внизу совершенно явственно слышался каждый его шаг, каждое движение. В доброте своего честного сердца, он старался жить как можно тише и неподвижнее, чтобы не тревожить шумом больных, и из-за этого отказался от единственной страсти, когда-либо волновавшей его сердце, – он боготворил музыку и играл на виолончели с искусством и любовью истинно немецкого виолончелиста.

Но в течение тех трех лет, которые он прожил над лазаретом, что почти совпадало с поступлением Жюстена в колледж, он не прикасался к виолончели и терпеливо, без малейшей жалобы, ожидал, когда ему отведут другую комнату, которую ему обещали уже целых восемнадцать месяцев.

Наконец этот так горячо ожидаемый день наступил.

Трудно передать восторг и удивление Жюстена, когда он, весело войдя в новую квартиру учителя, увидел того с инструментом в руках и слышал звуки печальные и могучие, как жалоба леса.

С этой минуты он не давал покоя Мюллеру, постоянно упрасывая играть ему еще и еще и учить его самого.

Мальчик стал брать эти уроки каждый день и употреблял на это все свое свободное время, которое, впрочем, и прежде было не чем иным, как трудом обучения, скрытым под увлекательной формой задушевной беседы.

Скоро они начали разбирать творения великих мастеров, сравнивать старинных с новейшими, Порпору с Вебером, Баха с Моцартом, Гайдна с Чимарозой, осуждали похитителей чужих творений и в таких разговорах прошли всю историю музыки от начала грегорианского пения до Гюи д'Ареццо, а от него – до наших времен. От музыки они переходили к изучению поэзии и живописи, и, таким образом, учитель, введя юношу сперва в зеленые долины науки, вознес его теперь в лазоревые сферы искусства.

Все эти семена, брошенные в сердце юноши крот кой и умелой рукой, принесли в уединении, в котором жили эти странные друзья, роскошные плоды.

Уединение имеет, между прочим, ту хорошую сторону, что вынуждает человека осознать необъятную пропасть, которая таится в его сердце и которой, затерявшись среди эгоистического общества, он никогда не осознал бы. Одиночество вынуждает человека постоянно сосредоточиваться на себе самом.

В уединении в душе человека складывается совершенно новое отношение к жизни и ее явлениям – дурное становится сносным, хорошее – еще лучшим. В уединении сам Бог беседует с душою человека, а человек обращается мыслью к самому сердцу своего Творца.

Такая жизнь составляла заветную мечту старого учи теля, и она тянулась целых семь лет. Вдруг, однако, налетело несчастье и с беспощадной грубостью оборвало ее тихое, поэтическое течение.

В одно из февральских воскресений 1814 года Жюстену подали письмо, еженедельно приходившее с родины. Оно было запечатано черным сургучом. Адрес на кон верте был написан незнакомым почерком.

Неужели отец и мать умерли?

Если бы кто-нибудь из них остался в живых, то, разумеется, сам известил бы сына о постигшем их не счастье.

Жюстен, дрожа всем телом, распечатал письмо.

Оказалось, что несчастье, постигшее их семью, превосходило все, что могла изобрести его встревоженная дурным предчувствием фантазия.

Казаки разграбили их запасы, истоптали посевы, со жгли ферму. Мать бросилась спасать крепко спавшую дочь и опалила себе глаза. Она ослепла.

Но отец? Почему же не мог он написать сыну? То был старый республиканский солдат. Увидя весь ужас своего несчастья, он потерял голову, схватил ружье и принялся охотиться за казаками, как за дичью. Он убил девятерых. Но в тот момент, когда он целил уже в десятого, его окружили и сразу грянуло двенадцать выстрелов. Две пули попали в грудь навывлет, третья разmozжила ему голову. Он умер на месте.

Учитель искренне разделил горе своего любимца, и слезы старика смешивались со слезами юноши. Но слезы и огорчение делу не помогают, а Жюстену нужно было действовать.

Он решил ехать на родину, обнял своего второго отца, давшего ему жизнь духовную, и отправился.

XIV. Школа выживания

Отец убит, мать ослепла, сестра была еще слишком мала, чтобы зарабатывать себе пропитание; дом сгорел, урожай погиб. Что оставалось делать юноше, которому только что исполнилось шестнадцать лет?

Тотчас по приезде на родину он написал обо всем этом учителю, прося его совета.

Мюллер считал, что для Жюстена лучше всего возвратиться в Париж, так как в столице легче найти заработок. Кроме того, он и сам может здесь сделать для сирот гораздо больше.

Добряк-учитель был беден, но одинок, а это – своего рода богатство. Он отдал Жюстену все, что накопил в течение десяти лет, и предложил ему поселиться в соседнем доме.

Жюстен даже и не думал отказаться от этой, так искренне предложенной помощи и согласился.

Вот тогда-то и возвратился он в Париж и занял ту комнату в предместье Св. Якова, где его застали Жан Робер и Сальватор. Убогий, мрачный вид ее не смутил его.

Целый год бился он в поисках уроков.

Его принимали довольно ласково, но узнав, что этот шестнадцатилетний мальчик воображает, что уже способен учить других, хохотали ему прямо в лицо.

Только на второй год своих поисков ему удалось добиться нескольких занятий по повторению с детьми уроков, заданных им в школе. Но того, что он получал за них, далеко не хватало на пропитание трех человек.

Все эти занятия вместе занимали у него только три часа в день, и он стал размышлять, чем заняться кроме этого.

Между прочим, он узнал, что в одном женском пансионе нуждались в учителе музыки. Мюллер дал ему рекомендательное письмо, и он отправился к начальнице.

Его приняли с распростертыми объятиями.

Старик откровенно признавался в своем письме, что если ученику его предоставят это место, то ему самому окажут этим величайшую услугу, тем более, что молодой человек нуждается, прибавлял он.

Начальница сообразила, что и сам Мюллер беден, а по тому учителя можно будет нанять очень дешево. Она предложила Жюстену по двадцать франков в месяц. Мюллер, который знал ему цену и гордился им, посоветовал ему отказаться.

Но Жюстен был рад и этому и согласился. С двадцатью франками и с тем, что он получал за репетиции, можно было существовать, хотя и очень скромно; но материальная сторона жизни была все-таки обеспечена.

Прошедшее было так тяжело, что даже и такая жизнь казалась сносной.

Однако на него нападало смущение каждый раз, когда кто-нибудь произносил имя добряка Мюллера.

Они должны были ему всю сумму его сбережений, – целую тысячу франков, – а для них это были огромные деньги, которых Жюстен не мог заработать даже за целый год. Необходимо было найти еще работу!

И он искал ее повсюду.

Мать была слепа, а сестра, хотя девочка и трудолюбивая, но слабая и почти всегда больная. Следовательно, на их помощь нечего было и рассчитывать.

Один торговец дровами на бульваре Монпарнас искал счетовода, который приходил бы к нему проверять дела два раза в неделю.

Жюстен пошел к нему.

Одет он был, хотя и опрятно, но чрезвычайно скромно. Его предшественнику торговец платил по пятьдесят франков; но то был франт из предместья, который приходил только тогда, когда оставался без гроша или когда ему было больше нечего делать.

Торговец предложил Жюстену всего двадцать пять франков, и он мог расплатиться с Мюллером все-таки не раньше четырех лет.

Его греческие и латинские уроки, музыкальные классы и счетоводство занимали у него теперь по восемь часов в день. Таким образом, у него оставалось свободных четыре часа в день и двенадцать часов ночью.

Он снова принялся искать еще работу. Ему казалось, что ради двух своих обязанностей – содержать мать и сестру и рассчитываться с Мюллером, – он способен на все на свете.

Имея занятия, найти еще дело всегда удобнее. И он нашел его.

Невдалеке от того дома, где он жил, была типография, в которой печаталась одна ежедневная газета. Корректору – славному веселому парню, вероятно, уже предчувствовавшему приближение 1830 года, – наскучило за целых десять лет поправлять роялистские элегии своего патрона, служившего в важных чинах в министерстве. Он разорвал свои цепи, расправил крылья и в один прекрасный день улетел из своей душной клетки.

Издатель и типографщики очутились вечером в весьма затруднительном положении: править корректуру было некому, а замедлить с выходом номера тоже нельзя. По счастью, кто-то сказал им, что неподалеку живет молодой человек, вполне способный на этот мучительный труд.

Они отправились к Жюстену спросить, согласится ли он работать у них за корректора.

Молодому человеку показалось, что он попал в Землю обетованную.

До сих пор ему некогда было заниматься политикой, и он совершенно не разбирался в ней. Из всей этой области он знал только неприятеля, ворвавшегося во Францию, и казаков, которые сожгли его родной дом, выжгли глаза его матери, осиротили их с сестрой. Он ненавидел их всеми силами своей души. Политических же убеждений у этого честного юноши не было или, вернее, у него было одно – содержать мать и сестру и расплатиться с Мюллером.

Условливаясь с ним, издатель предупредил его, что ему предстоит работать две трети ночи. Он согласился.

Когда его спросили о гонораре за труд, он добродушно ответил:

– Я этим никогда не занимался, вам лучше знать.

Таким образом, он сделался корректором в середине 1818 года.

Ровно день в день через год он уплатил Мюллеру тысячу франков.

В конце следующего года у него была тысяча франков экономии.

Какие чудные планы строил бедняк! Ему мечталось, что через четыре года у его сестры будет три тысячи приданого и тысяча четыреста франков на свадьбу.

Но он сам? Что он такое? Ремесленник, работающая машина, не останавливающаяся с двух часов ночи до шести утра. Именно про таких людей один святой чело век сказал:

– Работать – значит молиться.

Но мечты Жюстена постигла судьба всех подобных планов. Они не сбылись.

Жюстен серьезно заболел и целых восемь дней находился между жизнью и смертью. Затем у него сделался тиф, который продержал его два месяца в постели.

Русская пословица говорит, что беда никогда не приходит одна. Это – истина верная не только для русских, но и для французов, и для испанцев.

Вместе с появлением болезни Жюстену изменило и все остальное. Его музыкальные классы перешли к модному пианисту, который в них вовсе не нуждался; но он был в моде и приходил на урок только тогда, когда ему было нечего делать. Ведение книг перешло в руки какого-то дэнди. Роялистский листок обанкротился.

Для несуществующего журнала корректор составляет совершенно излишнюю роскошь, а потому Жюстен потерял и эти занятия, и за ним осталось одно репетиторство. Но, к несчастью, подошли каникулы, и ученики разъехались.

Единственным спасением несчастной семьи был Мюллер. Ему отдали его тысячу франков, и теперь можно было опять занять ее у него.

Жюстен и отправился к нему, как только был в состоянии встать на ноги.

Он шел, то пошатываясь, то придерживаясь за стены.

Старик был в своей комнате и сидел на небольшом чемодане, который только что уложил и запер.

– А! Вот и ты, мальчик! – проговорил он. – Я очень рад, что тебе лучше!

– Да, да, мне лучше, дорогой учитель, и как, видите, я пришел к вам к первому.

– Спасибо, друг!.. А я только что собрался идти к тебе, проститься.

– Как? Разве вы уезжаете? – тревожно спросил Жюстен.

– Да, мой милый, отправляюсь в далекий путь.

– Куда же это?

– Я никогда не говорил тебе об этом, а то ты не занял бы у меня тысячи франков.

– Боже мой! – прошептал Жюстен.

– Я ведь рассказывал тебе, что я родом из одного города с великим Вебером. Когда мы были детьми, то играли вместе, когда же выросли, то подружились, а когда я стал понимать его, то преклонился перед ним. Ну, и вот, видишь ли, я дал себе клятву, что не умру без того, чтобы еще раз не взглянуть на великого творца «Фрейшютца» и «Оберона». Ради этого я усиленной экономией и трудом скопил тысячу франков, – ты по опыту знаешь, что это не легко! Но зато ведь эта поездка будет венцом моей жизни! Я уж было и собирался ехать, да тебе понадобились деньги. Что ж, думаю, – ведь мы с Вебером еще не такие старики, – доживем до тех пор, как Жюстен отдаст мне деньги!

– Милейший вы, добрый!

– Ну, вот тогда я тебе их и отдал. Видел я, как ты старался мне их отдать, видел, как ты был мучеником своей чести, и следовало бы мне сказать тебе: «Не работай ты так много, – успеешь! Сильна молодость, да ведь и ее силам мера есть!» Но я, старый эгоист, не сказал тебе этого... Прости меня!.. Правда, что очень тревожил меня и Вебер. Все говорили: «Вебер опасно болен, у него расстроена грудь, он долго не протянет!» Ну, да и в музыке его слышались нотки души, готовой улететь в иной мир... Теперь же намучился ты, а все-таки отдал мне деньги... Только признайся, ведь я никогда не напоминал тебе о них?

– О, дорогой учитель...

– Нет, нет! Ты мне это скажи! Мне это очень нужно! Только что ты их мне отдал, я и подумал: «Отлично! Это как раз к лету!» Сам рассуди, что вышло бы, если бы Вебер умер? Но, слава богу, он жив, и я еще успею обнять его! О, чудный, великий человек! Ведь я получил от него письмо. Он в Дрездене, – пишет оперу для короля саксонского. Сегодня я уложился и взял билет до Страсбурга, а вечером и отправлюсь. Вот хотел только зайти к тебе. Пойдем, позавтракаем вместе.

– Да ведь мне еще нельзя есть и аппетита нет! – едва владея собой, хрипло проговорил Жюстен.

– А какая жалость, что ты не можешь поехать со мной. Неужели это невозможно?

– Решительно невозможно!

– Понимаю!.. Ведь у тебя уроки музыки, репетиторство, двойная бухгалтерия, корректура... Ты мог бы потерять все это.

– Да, – вздохнул Жюстен.

Мюллер был так весел, что не заметил этого вздоха.

А между тем этот вздох был даже грустнее «Последней мысли» Вебера, – в нем сказалась утрата последней надежды.

Жюстену стоило только сказать:

– Мне нужна ваша тысяча франков, чтобы выздороветь, чтобы кормить мать и сестру. Вы можете и позднее увидеться с Вебером, а теперь оставайтесь, добрый учитель, оставайтесь!

И Мюллер, может быть, и вздохнул бы так же горько, как и Жюстен, но, наверно, не отказал бы ему.

Но Жюстен даже и не подумал ничего подобного, обнял старика со слезами на глазах, вернулся домой и в изнеможении бросился на свою постель.

В тот же день в пять часов вечера старый Мюллер уехал в Дрезден.

Это было разрушением последней надежды.

Несмотря на все еще продолжавшуюся слабость, Жюстен стал хлопотать о возвращении своих прежних уроков и о приискании новых. Но большинство родителей отделялось от него человеколюбивым ответом:

– У вас здоровье слишком слабое.

Наконец, выбившись из сил и почти утратив всякую надежду, молодой человек решился открыть частную школу, тем более, что детей в этом бедном околотке было много, а учебных заведений – мало.

Первым, кто отдал к нему сына, был один ремесленник. Сосед его, поденщик, который не мог присматривать за своим мальчиком, отвел его в школу, скорее, чтобы отделаться от него, чем ради науки, третий привел к Жюстену двух семилетних близнецов.

Через шесть месяцев у него в ученье было восемь славных белокурых и краснощеких мальчуганов. Ему приходилось проводить с ними целый день, а все они вместе доставляли ему всего сорок франков в месяц.

В бедных кварталах несчастные школьные учителя и теперь получают такую же плату.

Наконец, через два года, в июне 1820 года, у Жюстена было уже восемнадцать учеников. Он получал за них девяносто франков и жил на них с матерью и с сестрой; но слово «жить» часто перефразируется словами «не умирать от голода».

Мюллер побывал в Дрездене, виделся с Вебером, про вел с ним целый месяц и, возвращаясь, сказал Жюстену:

– Я издержал мою тысячу франков до последнего сантима, но, клянусь виолончелью, я не жалею их.

XV. Домашняя жизнь школьного учителя

В доме, в котором жил Жюстен, было всего два этажа.

Во втором этаже было две комнаты и кухня. Там жили мать и сестра Жюстена.

Этот флигель стоял в глубине двора, соприкасаясь с другими домами лишь одним фасадом, и был построен, вероятно, для смотрителя фабрики, развалины которой еще виднелись неподалеку.

И вот в этом темном углу с трудом и лишениями прозябали мать, дочь и сын.

Слепая мать проводила большую часть времени в первой комнате, в которой сходились по вечерам и дети.

Ужасное положение свое она переносила с терпением, на которое способны только люди глубоко религиозные. Она никогда не жаловалась и держала себя с достоинством древней матроны. Спартанцы превознесли бы ее до божеского достоинства, а римский сенат издал бы указ, по которому каждый должен был бы снимать перед нею шляпу, как перед старшей жрицей великой богини. Но французское общество относилось к ней с жестокостью палача.

О! Это общество достойно строгого суда, и каждый вправе произнести над ним слова осуждения.

Больше чем вероятно, что и мы в этом случае по терпим такое же поражение, какое потерпел Иаков в борьбе с ангелом. Но когда мы предстанем на суд Божий и Бог спросит нас: «Что вы делали?» – мы ответим ему: «Победить было невозможно, но мы боролись!»

Дочь была слабым, худеньким существом, как лесной ландыш, пересаженный в темный и холодный погреб. Она унаследовала некоторые из добродетелей матери, но далеко не была ей равной по силе самоотречения. Она страдала аневризмом, который мог разрешиться при сильном волнении внезапной смертью, и, как бы предчувствуя близость могилы, иногда не выдерживала и роптала. Резких и горьких слов она не произносила никогда, потому что была воспитана в строго христианских правилах; но временами в душе ее скапливалось столько горя и боли, что мать, следившая за нею с прозорливостью любящего сердца, замечала это и страдала и за нее.

Жюстен, с утра до ночи занятый со своими учениками, мог заходить к ним днем лишь изредка, да и то только тогда, когда приходил старик Мюллер и заменял его в классной комнате.

Летом школа открывалась в восемь часов утра и запиралась в шесть вечера, а зимою дети собирались в девять часов утра и расходились в пять вечера.

Почти все это были дети ремесленников этого квартала, которые не сегодня завтра должны были приняться за ремесла отцов, а следовательно, и не нуждались в знании латинского и греческого языков.

Но двое из них были сыновьями разбогатевшего меха ника, который хотел отдать одного в политехническую школу, другого – в школу ремесел и искусств. В двенадцать лет им предстояло поступить в колледж, так что старшему приходилось оставаться у Жюстена два года, а младшему – три. Жюстен заметил в них необыкновенные способности и, как истинный непризнанный Прометей, заронил и в них искру того священного огня, который воспитал в нем старый Мюллер.

За исключением этих двух мальчиков, все остальные не хотели учиться, да и родители их не заботились о том, чтобы их чему-нибудь выучивали, кроме чтения, письма и четырех правил арифметики.

Вследствие таких скромных требований клиентов сложилось так, что мать и сестра Жюстена могли помогать ему в трудах преподавания.

Когда сестра была здорова, она сходила вниз и, пока брат уходил поболтать с матерью, заставляла детей читать или учила их счету, выводя цифры мелом на большой классной доске.

Мать же каждый день забирала добрую треть класса в свою комнату. Восемь из младших учеников усаживались на полу вокруг ее соломенного кресла, и она учила их молитвам или рассказывала трогательные эпизоды Ветхого Завета.

Вызывали умиление эти белокурые головки перед величавой слепой фигурой матроны. Когда они, стоя на коленях, в один голос произносили молитвы, казалось, что они и собрались сюда только затем, чтобы едино душно молить Бога о возвращении ей зрения.

Так скучно и однообразно тянулась жизнь скромной и честной семьи до июня 1821 года.

За исключением посещений старика Мюллера, который часто приходил посидеть с ними на несколько часов, ничто не прерывало этого монотонного, как пустыня, существования.

Изредка летом они отправлялись на прогулку, но ходили обыкновенно только в сторону Мон-Ружа.

Вместо лесов Версаля, Медона, Монморанси теперь приходилось довольствоваться вытоптаннами канавами окраин, потому что слепая мать и слабая сестра не могли предпринимать длинных прогулок, которые когда-то составляли для сорокапятилетнего учителя и двенадцати летнего ученика невинную отраду.

Да и Мон-Руж представлял для них путь слишком дальний, так что до него доходили редко, и большей частью останавливались на половине или на одной трети дороги, садились у обочины и несколько часов грелись на солнце.

Зимой же все собирались вокруг маленькой изразцовой печки, в которой бережно сжигали два-три полена, вечер заканчивался в девять часов.

В доме был и камин, но его не топили, потому что в нем сразу пришлось бы сжечь столько дров, сколько у них выходило за неделю. Чтобы прекратить тягу из этой громадной трубы, которая охлаждала всю квартиру, ее заколотили.

Если старый Мюллер приходил незадолго до девяти, непременно предлагали подбросить в печку еще поленце, но он тоже непременно отказывался, говоря, что ему и без того жарко от ходьбы. После этого все снова усаживались потеснее у затухающей печки.

Старый добряк, спеша замаять неприятную мысль о лишениях, начинал рассказывать какую-нибудь смешную историю, – как это делала вдова Скаррон, чтобы заставить забыть об отсутствии жаркого, – и его веселость согревала слушателей, как благотворный луч солнца.

И действительно, веселость можно сравнить с солнцем, которое светит и зимою, и для бедных, и для несчастных.

За последние два года Жюстен особенно много занимался музыкой и вполне оценил ее благотворное влияние.

Как только часы на башне церкви Сен-Жак били девять, а Мюллер все еще не приходил, молодой человек целовал мать и сестру и шел к себе вниз.

В своей комнате он зажигал свечу, несколько минут просматривал старую тетрадь нот, вынимал из футляра виолончель, тщательно обтирал ее и сжимал в руках, как старого друга.

Да разве инструмент для мастера не истинный друг? А виолончель Жюстена божественно могучим голосом за какие-нибудь два вечерних часа снимала всю его скорбь и усталость. Эти часы были отдыхом его сердца, а виолончель – его двойником, который выслушивал все движения его души и пересказывал их в возвышенной и облагороженной форме.

Несмотря на молодость, у Жюстена не было никого, кроме слепой матери, больной сестры и старого учителя, а молодость требует откровенных излияний, и он сделал своим другом и поверенным свою виолончель.

В эти вечерние часы он обретал в музыке новый запас силы, которую растрчивал в течение дня.

Но настало время, когда и этот художественный и поэтический отдых уже не мог удовлетворить его. Жюстен затосковал. Мюллер тотчас же заметил это и всячески старался развлечь его.

– Ты раньше времени состаришься, – говорил он ему. – Тебе необходимо выходить, бывать в обществе, и уж если ты не можешь принимать участия в его жизни, то хоть смотреть на нее. Вот скоро наступят каникулы, нужно нам с тобою куда-нибудь проехаться. Ты так и знай: ровно 15-го августа я явлюсь за тобой, и мы отправимся.

И действительно, бедный школьный учитель начинал вянуть в лучшие годы человеческой жизни. Лицо у него было бледное, бесцветное, глаза мутные, щеки ввалились, на лбу появились морщины, кожа пожелтела, как пер гамент, в который были переплетены его старые книги. На вид ему можно было дать лет тридцать, тогда как, в сущности, ему едва минуло двадцать. Но жизнь, которую он вел, должна была его состарить. Люди, с которыми он проводил время, комната, в которой жил, его собственное лицо, походка, наконец, все существо его носило на себе отпечаток окружавшей их обстановки, ее бедности и тесноты.

Можно сказать почти без сомнения, что он не вынес бы этого еще дольше, если бы его не потрясло новое несчастье, снова вызвавшее его к жизни.

Есть в жизни горести, которые исцеляют одна от другой.

Жюстен зарабатывал тысячу восемьдесят франков в год. Это гарантировало его от крайней нужды, но о том, чтобы отложить что-нибудь на черный день, нечего было и думать.

– Если не можешь принимать участия в жизни общества, то нужно хоть видеть ее, – говорил старый Мюллер.

Сказать это было гораздо легче, чем исполнить. Разве можно было являться в общество в одежде, которая уже четыре года, зиму и лето не сходила с плеч вечно работающего человека?

Да и все в доме также нуждалось в обновлении, как костюм Жюстена.

Сестра только и делала, что чинила белье. Простыни матери представляли из себя какое-то чудо штопального искусства; носки Жюстена состояли скорее из штопок, чем из чулочной ткани. Семья давно уже решила по купать вещи только в случаях крайней необходимости, но мало-помалу дошло до того, что вещи, которые они не хотели менять, сами изменяли им.

Жюстену было необходимо приискать новые заработки, и причем делать это безотлагательно, так как близко было то время, когда платье его обратится в совершеннейшие лохмотья, а люди в таком виде не внушают доверия.

А ждать того, чтобы занятия нашлись сами собою, значило ждать слишком долго. И Жюстен снова начал лихорадочные поиски работы. Во многих местах его не принимали вовсе, в других отвечали отказом.

Вся семья стала прогуливаться по вечерам, когда стемнеет, потому что выходить днем в своих изношенных платьях было совестно.

В один вечер Жюстен ходил взад и вперед неподалеку от заставы Мен, поджидая старого Мюллера, с которым хотел сходить к одной даме, нуждавшейся в репетиторе для сына.

Проходя мимо одного из людных кабаков, он услышал перебранку между контрабасистом и вторым скрипачом.

Жюстен почти не обратил на это внимания, как на вещь, вовсе для него не интересную, но вдруг до него долетели слова:

– После этого, клянусь, вам, мосье Дюрюфле, что ноги моей не будет в том доме, где бываете вы. А в доказательство моих слов я ухожу сейчас же и отсюда!

И действительно, несколько минут спустя, контра басист вышел, размахивая смычком, как будто он был мечом огненным.

– О! – вскричал Жюстен.

Он ударил себя рукой по лбу.

У него сверкнула счастливая мысль.

В то же время в конце улицы появилась фигура старого Мюллера.

XVI. Музыкант

Жюстен стал ждать своего учителя, не делая навстречу к нему ни шагу. Он точно боялся, что если сойдет со своего места, то упустит счастливый случай.

Когда к нему подошел Мюллер, он рассказал ему все, что слышал и что задумал.

– А! – проговорил старик, – это хорошо, значит, тут есть место.

Вслед за тем ему пришло в голову, что как кабак не гадок, но занятия в нем будут иметь для Жюстена уже ту хорошую сторону, что сделают несколько разнообразней губительное однообразие его жизни.

Кроме того, и заработок был бы большим подспорьем для несчастной семьи.

– Но примут ли тебя там? – опасливо спросил он.

– Я надеюсь! – скромно ответил Жюстен.

– Да, да, я тоже так думаю, – поспешил одобрить его. Мюллер, – а уже если не примут, то, значит, они тут дьявольски требовательны!

– Так я пойду, спрошу!

– Да, да, иди, и я схожу с тобой, – сказал добрейший старик.

Жюстен вошел в кабак.

Само собой разумеется, что появление в таком месте молодого человека с серьезным и бледным лицом и почтенного старца, одетых во все черное, произвело на веселящуюся толпу сильное впечатление. Мужчины указывали на них пальцами, женщины громко хохотали.

Мюллер и Жюстен не обращали на этот хохот внимания или делали вид, что не замечают его.

Подойдя к одному из гарсонов, они сказали ему, что желают переговорить с хозяином заведения.

Трактирщик, толстый, как Силен, и красный, как вино, которое он подавал своим посетителям, тотчас же предупредительно подошел к ним, вероятно, рассчитывая на какой-нибудь доходный заказ.

Старик и юноша застенчиво высказали ему свое предложение.

И сердце талантливого музыканта, сына, трудом содержащего мать и сестру, мучительно билось от страха в ожидании ответа содержателя увеселительного заведения!

Но ведь с получением этого места для Жюстена была связана надежда на приобретение приличной пары платья для себя и удобной одежды для сестры и матери.

О, смейтесь, смейтесь, вы, которым никогда не приходилось бояться терзаний от холода и голода, страха не за себя, а за дорогих существ! Но для меня, который сам долго боролся с нуждой и на сто франков в месяц содержал мать, сына и себя, – смеяться над такими вещами было бы святотатством.

В ответ на предложение Жюстена хозяин сказал, что это его не касается, а полностью зависит от капель мейстера оркестра. Он прибавил, впрочем, что готов сам переговорить с ним и, вернувшись минут через пять, объявил Жюстену, что, если он окажется действительно способным занять важное место контрабаса в оркестре, то может приняться за дело сейчас же, с платою по три франка за вечер.

В этом увеселительном заведении устраивалось три бала еженедельно, следовательно, Жюстену предстояло получать тридцать шесть франков в месяц, именно ту сумму, что ему приносили его первые восемь учеников. Это показалось ему целым Перу, – нам сказали бы целой Калифорнией – и он тотчас же согласился, сказав только, что сейчас сходит домой за инструментом.

Но хозяин возразил, что этого вовсе не нужно. Капельмейстер предвидел уход контрабасиста и заранее приготовил контрабас, на котором, в крайнем случае, мог играть второй скрипач. Таким образом, все устраивалось как нельзя лучше, точно в мире Панглосса.

Жюстен был в душе чрезвычайно рад такому обороту дела.

Он хотел уже проститься с Мюллером, но добрый старик заявил, что хочет присутствовать на дебюте своего ученика и уйдет только по окончании бала.

Оркестр, состоявший из восьми музыкантов, которые играли адские кадрили, воодушевляющие триста или четыреста танцующих пар, был поистине достоин кисти художника. Бледное, серьезное лицо Жюстена напоминало между ними музыканта-мученика, играющего с веревкой на шее для увеселения толпы дикарей. Сверху голову его заливал свет, и она поражала своей выразительностью.

Хорош собою Жюстен не был. Каждый, глядя на него, невольно сознавал, что его портило именно это страдальческое выражение и что если бы оно заменилось радостью и счастьем, если бы на губах этого труженика заиграла улыбка, то во всем облике его проступил бы истинно ангельский и в то же время исполненный достоинства характер.

Держа контрабас, который был вдвое выше его, с белокурыми волосами, мягко сбегавшими ему на лоб и плечи, с голубыми влажными глазами и выражением грусти во всем существе своем, он имел какое-то неотразимое обаяние, внушавшее участие каждому, кто его видел.

Он напоминал вдохновенного Листа в молодости.

После первой же кадрили капельмейстер убогого оркестра обратился к нему с очень лестным отзывом, а товарищи-музыканты принялись аплодировать.

Старик Мюллер не помнил себя от радости. Он тоже хлопал руками и плакал от умиления.

Успех всегда остается успехом, в каком бы месте он ни достигался.

В одиннадцать часов Жюстен спросил, до какого времени обыкновенно продолжаются балы.

– Иногда часов до двух утра, – ответили ему.

Он огляделся, отыскал глазами Мюллера и сделал ему знак подойти.

Старик подошел, и Жюстен попросил его сходить к ним домой и предупредить мать, чтобы она о нем не тревожилась, так как до сих пор он никогда еще не возвращался домой позднее десяти.

Мюллер отнесся к его заботе с полнейшим уважением и тотчас же пошел к мадам Корби. Он застал слепую матрону и ее слабую дочь за молитвой.

– Ну, вот, добродетельная мать и святая дочь, ваша молитва и исполнена, – проговорил он, входя. – Жюстен нашел место в тридцать шесть франков в месяц.

Обе женщины радостно вскрикнули.

Старик обстоятельно рассказал им все, что произошло.

Мать и дочь с истинно женской тонкостью поняли всю цену жертвы, которую приносил им Жюстен.

– Добрый, милый Жюстен! – повторяли они.

В их словах было столько нежности, что она граничила с жалостью.

– Да вы его не жалейте, – утешал их Мюллер, – он имеет там настоящий триумф. Просто великолепен! Он мне напомнил Вебера во времена его молодости.

После такой похвалы Мюллер не мог уже сказать ничего лучшего и, простившись с женщинами, вернулся в увеселительное заведение.

Вышли они оттуда с Жюстеном ровно в два часа ночи.

Калитка во двор была отперта, о чем позаботилась сестра Жюстена.

К концу месяца он сыграл в оркестре двенадцать раз и получил тридцать шесть франков.

На эти деньги можно было купить, по крайней мере, предметы первой необходимости.

Из всего этого достаточно видна вся честность и нежность Жюстена, так что для полноты изображения его нравственного облика нам остается только прибавить всего несколько штрихов.

Вообще очертить этот характер нетрудно. Весь он проявится в главе, которую Жан Робер назвал «Покорностью провидению».

Мы же скажем, что если бы эта, доведенная до крайности добродетель вздумала спуститься на землю и принять осязаемые формы, она едва ли нашла бы более подходящее олицетворение, чем личность Жюстена.

Проследить, что случилось с этим сердцем под влиянием горя и радости, и составляет одну из задач нашего обширного труда.

Устоит оно или разобьется?

То, что мы передаем здесь, – не рассказ о нескольких приключениях нескольких лиц, а правдивая история человеческого сердца, всегда заключающая в себе много назидательного, а потому уже стоящая труда и внимания.

Итак, перед вами человек совершенно чистый и целомудренный. До сих пор он жил, как птица небесная, отыскивая в полях и долинах зерна и крохи, которые заботливо относил в свое гнездо. До сих пор единственной заботой его было удовлетворение материальных потребностей жизни. Непомерным трудом и подчас ценою собственного здоровья ему удалось доставить своей несчастной семье если не благосостояние, то хотя бы возможность существовать.

Но что же сделал он за это время для самого себя?

Ничего!

Будь он один на свете, он, разумеется, сумел бы найти средства продолжить свое образование, достиг бы звания бакалавра, может быть, даже доктора, а теперь, вместо профессорской кафедры, он жил в чем-то вроде каземата, по рукам и по ногам скованный чувством сыновнего долга.

Разумеется, никто из нас, воспитанных матерью и наслаждавшихся ее ласками, не стал бы тяготиться своими обязанностями по отношению к сестре.

Но если случайно пострадавшая семья, не находя поддержки в обществе, обрушивается всей тяжестью своего существования на одного из своих членов и хоть непроизвольно, но придавливает его, к этому человеку поневоле относишься с сожалением.

Все несчастья Жюстена происходили из-за его семьи, но для его благородного сердца не было мысли ужаснее, чем мысль о возможности потерять ее.

Следовательно, положение оказывалось безысходным.

Да Жюстен и не хотел изменять его. Ему хотелось жить завтра, как он прожил вчера. Он посвятил матери и сестре отрочество, юность и молодость, хотел посвятить им же и весь остаток жизни.

Но ведь когда-нибудь должно же было настать для него время, когда заговорит сердце, когда молодая любимая женщина внесет в мрачную пустыню его существования все очарования, радости и наслаждения жизни?

Да, но откуда было взяться этой женщине?

Он не мог себе купить Рахиль у Лавана даже ценой десятилетнего труда! У него не было даже знакомых. А для того, чтобы жениться, недостаточно смотреть сквозь окошко на молодые существа, называемые молодыми девушками. Да и кроме того, разве честный до щепетильности Жюстен посмел бы когда-нибудь жениться?

Он знал, что брак связывает не только руки, но и душу. А разве его душа и его руки принадлежали ему самому? Разве он имел возможность привести к очагу матери постороннюю женщину? Ведь ту нежность, которую он мог бы посвятить жене, пришлось бы отнять у матери и у сестры. Вот чем решался этот вопрос о сердечном союзе. А со стороны заработка и издержек

он был еще сложнее. Молодая женщина, со своей потребностью жить, есть, пить, одеваться и веселиться, еще больше отяготит их и без того тяжелые дела.

Итак, брак был счастьем не его удела.

Ему суждено было жить с вечным самоотречением.

Жюстен так и поступал.

Может быть, ему предстояло умереть от непосильного труда. И эта мысль его не смущала и не угнетала.

Оставалось еще ждать неожиданного чуда от милости Божьей. Однако Бог до сих пор не баловал эту несчастную семью, и она была вправе без богохульства сомневаться в существовании таких чудес.

Тем не менее это была именно рука провидения, которая могла извлечь Жюстена из окружавшей его безысходной пропасти.

В один из лучших июньских дней он возвращался со стариком Мюллером с прогулки по Монружской до лине и вдруг увидел во ржи девочку лет девяти. Вокруг нее были разбросаны васильки и колокольчики, а сама она крепко спала.

В образе этого ребенка сам Бог послал одного из своих ангелов для спасения Жюстена.

XVII. Ниспосланная Богом

Ученик и учитель с удивлением остановились, отыскивая глазами кого-нибудь из старших, с кем могла прийти сюда эта девочка.

На ней было белое платье, перехваченное на поясе голубой лентой.

Белокурая головка ее сладко покоилась на блестящих стеблях расступившейся ржи, а опустившиеся над нею колосья и головки васильков образовали легкий, подвижный свод, так что она была похожа на голубку в гнезде.

Маленькие ножки, обутые в голубые башмачки, свесились на край канавы и лежали так бессильно, что по одному их виду можно было догадаться, что она заснула от сильного утомления.

Она казалась юной богиней жатвы, случайно заснув шей во время осмотра своих владений.

Жюстен и Мюллер были в восторге и готовы были бы простоять над нею всю ночь, но мысль о том, что становится уже сыро и что о ней кто-нибудь мучительно тревожится, заставила их отказаться от этого художественного наслаждения.

Но что за женщина была ее мать, если могла оставить такого нежного ребенка одного в поле и притом чуть не ночью?

Судя по ее положению и дыханию, нетрудно было догадаться, что она спит уже давно.

Мюллер и Жюстен, всегда останавливавшиеся во время своих прогулок при каждом оживленном споре, отошли и остановились и теперь и принялись рассуждать о весьма, в сущности, интересном вопросе: всегда ли красота наружная соответствует красоте нравственной?

Разговор этот тянулся около четверти часа, но за девочкой так никто и не приходил.

Но где же была ее мать?..

Уж не отдыхали ли ее родители тоже где-нибудь во ржи? Башмаки на девочке были так запылены, что не оставляли сомнения в том, что она пришла очень издалека.

Жюстен и Мюллер опять огляделись, потому что были уверены, что мать не может далеко уйти от этого ребенка.

Но и на этот раз поблизости не оказалось никого.

Они переглянулись и по общему молчаливому согласию осторожно вошли в рожь, стараясь не разбудить ребенка.

Исходив поле вдоль и поперек и обойдя его кругом, как охотники за дичью, они все-таки не нашли никого.

Оставалось только разбудить девочку и расспросить ее.

Она проснулась и с удивлением окинула из взглядом больших прекрасных синих глаз.

Но во взгляде этом не было и тени страха.

– Что ты тут делаешь, дитя? – спросил Мюллер.

– Отдыхаю, – ответила она.

– Как отдыхаешь? – с удивлением переспросил Жюстен.

– Так. Я очень устала... Не могла больше идти, прилегла вот здесь и заснула.

Странно, ребенок проснулся, увидел чужих и не стал звать матери.

– Так ты очень устала? – с участием спросил старик.

– Да, сударь, очень! – подтвердила она, встряхивая головою, чтобы оправить свои кудри.

– Значит, ты издалека? – спросил Жюстен.

– Очень издалека.

– А где твои родители?

– Родители? – спросила она, приподнимаясь и глядя на них с таким удивлением, будто ее спросили о вещи ей совершенно неизвестной.

- Да, родители? – повторил Жюстен ласково.
- У меня родителей нет, – сказала девочка так же просто, как если бы сказала: я не знаю, о чем это вы у меня спрашиваете!
- Друзья печально переглянулись.
- Да как это может быть, чтобы у тебя родителей не было? – настаивал Мюллер. – Где твой отец?
- У меня отца нет.
- Ну, а мать?
- И матери тоже нет.
- Так у кого же ты жила?
- А у кормилицы.
- Где же она?
- В земле.
- С этими словами девочка горько, но тихо заплакала.
- У Жюстена и Мюллера тоже навернулись на глаза слезы.
- Девочка стояла, словно ожидая дальнейших вопросов.
- Как же ты попала сюда совсем одна? – спросил Мюллер.
- Она вытерла слезы руками и несколько успокоилась.
- Я иду с нашей стороны, – ответила она все еще дрожащим голосом.
- Это откуда?
- Из Буйля.
- Это возле Руана? – спросил Жюстен так радостно, будто встретил землячку.
- Она действительно была истинным цветком с полей Бретани: бело-розовая, как молоденькая яблонька в цвету.
- Кто же привел тебя сюда?
- Я сама пришла.
- Пешком?
- Нет. До Парижа ехала в карете.
- То есть, как это – до Парижа?
- Ну, да, до Парижа, а оттуда сюда пешком.
- Куда же ты шла?
- В предместье Святого Якова.
- Тебе туда зачем?
- Наш кюре велел мне отнести письмо к брату моей покойной кормилицы.
- Это, наверно, чтобы он взял тебя к себе?
- Да, сударь, чтобы взял.
- Да как же ты сюда-то попала?
- Там пассажиры говорили, что дилижанс опоздал, – они все и заночевали в предместье, а я увидела заставу и подумала, что за нею поля, что там хорошо, и пошла, да и зашла сюда.
- Значит, ты хотела переночевать здесь, а утром от нести письмо?
- Да, сударь. Только спать-то я не собиралась, думала, так посижу... Да перед этим я в дороге две ночи не спала. Я очень устала, а как присела, – вижу и лечь ужасно хочется, – а как легла, так сразу и заснула.
- Разве ты не боишься в поле, ночью, одна?
- Да чего тут бояться? – спросила девочка с уверенностью, свойственной детям и слепым, не видящим угрожающей опасности.
- Ну, а разве ты сырости и холоду не боишься? – спросил Мюллер, удивляясь простоте и прямоте ее ответов.
- Чего их бояться? Ведь ночуют и птицы, и звери в поле и в лесу. Ну, и мне ничего.

Эта душевная чистота и такое полнейшее одиночество ребенка глубоко взволновали обоих друзей.

Казалось, сам Бог поставил эту девочку на пути Жюстена, чтобы показать ему, что под звездным сводом есть существа еще более одинокие, чем он.

Даже не советуясь между собою, они заранее решили, что делать, и оба в один голос предложили девочке взять ее с собой.

Но она вдруг отказалась.

– Покорно вас благодарю, господа, – сказала она, – ведь мое письмо не к вам писано.

– Это все равно! – сказал Жюстен. – Пойдем к нам только переночевать, а завтра, как только захотите, так и пойдете к брату вашей кормилицы.

Говоря это, он подал ей руку, чтобы помочь перепрыгнуть через канаву.

Но девочка опять отказалась и, поглядывая на луну, сказала:

– Теперь почти что полночь. Часа через три рассветает. Не стоит вам из-за меня и беспокоиться.

– Уверю вас, что вы нас ничуть не беспокоите! – вскричал Жюстен, продолжая держать перед нею руку.

– Да и подумай только, – подхватил Мюллер, – ведь если здесь пройдут жандармы, они непременно арестуют тебя!

– Да за что им арестовывать-то меня? – возразила девочка с неподкупной логикой ребенка, которая часто озадачивает самых искусных юристов. – Я ведь никому ничего худого не сделала.

– Вас арестуют потому, что если найдут в поле одну, то подумают, что вы бродяга, – сказал Жюстен. – Пойдемте лучше с нами.

Но приглашение это оказалось излишним. Услышав слово «бродяга», девочка сама, без посторонней помощи, перескочила через канаву и с испуганным видом, молящим голосом пролепетала:

– Возьмите, возьмите меня с собой, добрые господа!

– Разумеется, разумеется, возьмем, – поспешил ее успокоить Мюллер.

– Вот так-то лучше! – обрадовался Жюстен. – Я отведу вас к моей матери и сестре. Они все очень добрые... Дадут вам поужинать, обогреют, вымоют и уложат спать. Вы, может быть, давно уже ничего не ели?

– Да, с утра ничего.

– Ах ты, бедный ребенок! – с ужасом и сочувствием вскричал старик, который с математической точностью ел по четыре раза в день.

Девочка не поняла этого восклицания, в котором были слиты и эгоизм, и сострадание. Ей показалось, что оно было обвинением против кюре за то, что он посадил ее в дилижанс и не позаботился о ее пропитании, и она тотчас же поспешила оправдать его.

– В этом я сама виновата, – проговорила она. – У меня был и хлеб, и вишни, только скучно было и есть не хотелось! Вот, посмотрите, – продолжала она, доставая из ржи корзинку с несколькими слежавшимися вишнями и ломтем зачерствелого хлеба, – у меня и провизия есть.

– Вы так устали, что дальше идти, верно, не можете, – сказал Жюстен. – Хотите, я вас понесу.

– Ах, нет, не надо! – вскричала девочка. – Мне нипочем отмахать еще добрую милю.

Но друзья не поверили этому, переплели руки, посадили ее на них, а она обняла их за шеи. Они подняли ее до высоты своих поясов и понесли на этих носилках из человеческих костей и мускулов.

Но в тот момент, когда они уже хотели двинуться вперед, девочка вдруг воскликнула:

– Ах ты, Господи! Да я никак совсем с ума сошла!

– А что случилось, дитя? – спросил Мюллер.

– Я забыла письмо!

– Да где ж оно?

– Там, в узелке.

– А где узелок?

– Во ржи, там, где я спала. Возле моего венка из васильков.

Она соскочила с их рук, перепрыгнула через канаву, подхватила свой узелок и с поразительной ловкостью снова очутилась на своих живых носилках. Друзья тотчас двинулись к заставе, которая виднелась всего шагах в трехстах от того места, где они ее нашли.

Девочка положила свой узелок так, что он мешал старому Мюллеру дышать.

Он посоветовал ей пристегнуть его к пуговице его сюртука.

Таким образом, у нее остались только корзина с вишнями и венок из васильков, который она сплела, чтобы не заснуть до рассвета.

По всей вероятности, она сохраняла его инстинктивно, как последнее воспоминание о первых часах одиночества, которые пережила на земле.

Так, по крайней мере, понял ее Жюстен; потому что когда она заметила, что венок трет щеку молодого человека, и, вопросительно взглянув на своих спутников, хотела его бросить, он взял его губами и надел ей на голову.

В таком виде она была поистине прелестна! Черные сюртуки Жюстена и Мюллера представляли чрезвычайно эффектный фон для ее белого платья и ангельского личика. Лоб ее, освещенный луною, казался челом небесного существа.

Она сидела, точно юная друидская жрица, которую торжественно несли к священному лесу.

На время смолкший разговор завязался снова. Жюстену чрезвычайно нравились звуки чистого голоса этой девочки.

– А чем занимается брат вашей кормилицы? – спросил он.

– Он колесный мастер, – ответила она.

– Колесный мастер? – переспросил он таким тоном, будто предвидел какое-то несчастье.

– Да, в предместье Святого Якова.

– Я знаю там только одного, в доме № 111.

– Кажется, это он и есть.

Жюстен замолчал. Около года тому назад заведение колесного мастера в доме № 111 внезапно закрылось, а вскоре на том месте появился слесарь. Но Жюстену не хотелось говорить об этом теперь, чтобы не огорчить ребенка прежде, чем он не разузнает о сути дела сам.

– Ах, да, да, – говорила между тем девочка, – теперь я все вспомнила. Это он самый и есть. Я несколько раз перечитывала адрес. Мне даже говорили, чтобы я выучила наизусть, на случай, что потеряю письмо.

– Значит, вы помните, кому оно было адресовано?

– Известно помню!.. Господину Дюрье... Так и на конверте написано.

Друзья опять переглянулись, но промолчали.

Девочка подумала, что они сомневаются в ее словах, и гордо прибавила:

– Я ведь давно умею читать!

– Я в этом и не сомневаюсь! – очень серьезно объявил Мюллер.

– А что вы собираетесь делать у брата вашей кормилицы? – спросил Жюстен.

– Что же, как не работать?

– А что вы умеете делать?

– Да что скажут. Я ведь много чего умею.

– Что именно, например?

– Шить, гладить, стирать, вышивать, штопать, отделявать чепчики, плести кружева.

Чем больше они ее расспрашивали, тем больше она им нравилась.

Скоро они знали всю ее историю.

В одну из ночей 1812 года в Буйль въехала карета и остановилась у одного из уединенных домов на краю деревни.

Из нее вышел человек и захватил с собою какой-то сверток, весьма неопределенной формы.

Подойдя к двери уединенного домика, он достал из кармана ключ, отомкнул ее, пробрался впотьмах в комнату, положил сверток на постель, а какое-то письмо и кошелек на стол, снова вышел, замкнул дверь, сел в карету, и она покатила дальше.

Час спустя, женщина, возвращаясь с рынка в Руане, остановилась перед тем же самым домом, достала ключ из кармана и отомкнула дверь. К ее великому удивлению, изнутри комнаты послышался крик ребенка.

Она поспешно зажгла лампу и увидела, что на постели с плачем барахтается что-то белое.

Это нечто белое оказалось маленькой девочкой.

Женщина с еще большим удивлением оглянулась вокруг и увидела на столе письмо и кошелек.

Она распечатала письмо и с великим трудом, так как дело было для нее непривычное, прочла следующее:

«Мадам Буавен, Вас все знают как добрую и честную женщину, и эта почтенная репутация Ваша побуждает отца, готовящегося покинуть Францию, поручить Вам воспитание своей дочери.

В предлагаемом кошельке Вы найдете тысячу двести франков. Эта плата за первый год содержания девочки. Начиная с 18 октября будущего года, через посредство кюре деревни Буйль Вы станете получать по сто франков ежемесячно. Эти сто франков будут доставляться Вам через один из банкирских домов в Руане, и сам кюре, который станет получать их отсюда, не будет знать, от кого они.

Дайте этому ребенку самое лучшее воспитание, какое сумеете, в особенности постарайтесь сделать из девочки хорошую хозяйку. Одному Богу известно, каким испытаниям придется ей подвергаться.

Крещена она именем Мина и никогда не должна называться иначе, чем я сам назвал ее.

28-е октября 1812 года».

Чтобы хорошенько понять смысл этого несложного письма, мадам Буавен прочла его ровно три раза. Потом, разобрав, в чем дело, она положила его в карман, взяла кошелек и ребенка и пошла к кюре посоветоваться.

Ответ священника можно было предвидеть заранее. Он сказал ей, что она обязана принять ребенка, которого ей так неожиданно посылает сам Бог, и всю жизнь заботиться о том, чтобы дать ему самое лучшее воспитание.

Мадам Буавен возвратилась домой с ребенком, письмом и кошельком.

Ребенка положила в чистую колыбельку своего сына, который умер десять лет тому назад, письмо спрятала в портфель, в котором лежал послужной список ее мужа, бывшего сержантом старой гвардии, участника похода в Россию, а тысячу двести франков положила в тайник, в котором хранила все свои сокровища.

О сержанте Буавене не было ни слуху ни духу.

Жене его никогда не удалось узнать, был ли он убит, попал ли он в плен или погиб от мороза.

В течение семи лет плата за девочку шла исправно, но затем она вдруг прекратилась, что не помешало доброй женщине любить Мину по-прежнему, потому что она при вязалась к ней, как к родной дочери.

Восемь дней тому назад мадам Буавен скончалась, а перед смертью просила кюре отправить девочку к своему брату, колесному мастеру, с которым не виделась очень давно, но за честность которого могла поручиться.

Брата этого звали Дюрье, и жил он в нижнем этаже дома № 111, в предместье Святого Якова.

Все это девочка рассказала своим покровителям, прежде чем они успели дойти до квартиры Жюстена.

Если молодой человек иногда поздно возвращался домой, то его всегда дожидалась сестра.

На этот раз Селеста, по обыкновению, ждала его, не ложась спать. При звуках его шагов она отперла дверь и услышала, что он окликнул ее по имени.

Она побежала к нему и первое, что она увидела, была Мина. Ее так поразила красота девочки, что она принялась целовать ее, даже не спрашивая, откуда ее взяли. Потом она подхватила ее на руки и понесла в комнату матери.

Несчастливая слепая не могла рассмотреть ребенка, но, как и все слепые, отличалась поразительной тонкостью осязания. Проведя рукой по лицу сиротки, она поняла, что та рождена красавицей.

Вскоре к старушке вошли и мужчины и рассказали ей всю печальную историю Мины. Селесте тоже очень хотелось послушать их рассказ, но брат указал ей на девочку, которая совсем засыпала, и ей пришлось идти в свою комнату и как можно скорее приготовить для нее постель.

Дело это устроилось очень легко.

С нижнего этажа принесли классную доску, положили ее на четыре табурета, а сверху постелили матрац, белье, под голову подложили подушки. Старушка Корби благо словила девочку как мать и хозяйка дома, моля Бога даровать ей всякое счастье.

Ребенок, очутившись в постели, сразу крепко заснул.

На другой день, раньше чем начали собираться ученики, Жюстен вошел в дом № 111 к одному из бывших соседей Дюрье, честному угольщику Туссену, и спросил его, не может ли он сообщить ему что-нибудь о колесном мастере, который жил прежде в квартире, которую занимал теперь слесарь.

Выбор Жюстена был чрезвычайно удачен.

Туссен был дружен с Дюрье.

Оказалось, что колесный мастер принимал горячее участие в заговоре Нанте и Берара, имевшим целью приступом взять Венсен. Это должно было стать знаком для восстания, распространенного по всей Франции и не удавшегося только благодаря разоблачениям Берара.

Туссен рассказывал, что вовлек его в это дело корсиканец Сарранти, который особенно хлопотал об участии Дюрье, так как он имел много рабочих.

Накануне того дня, в который должно было вспыхнуть восстание, Туссен услышал, что в квартиру Дюрье кто-то сильно стучится. Он встал, выглянул в форточку и узнал иностранца, который за последнее время часто бывал в мастерских колесного мастера.

Несколько минут спустя и гость, и хозяин вместе быстро вышли на улицу и со всех ног побежали к заставе.

После этого ни Дюрье, ни Сарранти больше не возвращались.

Но это было не единственным обвинением если не против Дюрье, то против Сарранти. Туссен узнал от полицейских, которые делали потом обыск в квартире Дюрье, что корсиканец украл у одного из своих друзей сумму чуть ли не в шестьдесят тысяч франков.

По всей вероятности, с помощью этих денег они добрались до Гавра и успели сесть на корабль, уходящий в Индию.

С тех пор ни о том, ни о другом не было ни слуху ни духу.

– Может быть, – прибавил Туссен, – о них можно узнать еще что-нибудь от сына Сарранти, который учится в семинарии Сен-Сюпис; но едва ли он станет откровенно говорить об отце с незнакомым человеком, зная, какое тяжелое обвинение на него падает.

Жюстен попробовал было расспросить угольщика подробнее, но Туссен и сам не знал ничего больше.

Молодой человек вернулся домой, считая неловким обращаться с расспросами к сыну Сарранти. В глубине души ему даже хотелось, чтобы колесный мастер исчез и никогда больше не возвращался.

Возвратясь домой, он в первый раз в жизни солгал матери и сестре, сказав, что собрал вести «нерадостные».

– А по-моему, весть твоя не печальная, а радостная и благая! – возразила ему мать. – Это весть хорошая, потому что эта девочка – ангел небесный, посланный нам самим Богом.

Для всех троих мысль оставить прелестного ребенка навсегда у себя казалась невыразимым счастьем.

По-видимому, все они дошли до того периода совместной жизни, когда слишком продолжительная близость одних и тех же людей между собою уже не может поддерживаться собственными своими силами и вследствие этого начинает уменьшаться.

Все трое бессознательно чувствовали потребность обновления извне. Они слишком долго переживали потоп, запершись в своем ковчеге, и вдруг к ним влетела голубка с оливковой ветвью.

И мысль оставить ребенка навсегда у себя была принята всеми с искренним восторгом.

Семья, которая только что изнемогала под гнетом бедности, решила стать еще беднее, чтобы только сохранить у себя ребенка. Им казалось, что усадить это маленькое существо у своего домашнего очага значит не только не обеднеть, но, напротив, – обогатиться.

XVIII. Приходской священник

Перенесемся на несколько лет вперед... По улице предместья Св. Якова шел бодрого вида священник, лет 70. Появление его произвело между жителями предместья видимую сенсацию. Послышалось несколько возгласов: «Ну вот и аббат!» – и вскоре около него собралась небольшая кучка местных кумушек. Одна торговка, за метив, что аббат озирается по сторонам, поглядывая на номера домов, сочла нужным помочь ему.

– Доброе утро, господин аббат!

– Доброе утра, моя милая! – отвечал с достоинством аббат и продолжал свой путь.

– Господин аббат, вы спешите, может быть, на свадьбу? – спросила кумушка.

– Вы угадали, – ответил священник, останавливаясь.

– На свадьбу, которая должна произойти в доме № 20? – добавила другая.

– Именно! – ответил еще более удивленный священник.

Заслышав, что башенные часы Св. Якова пробили половину десятого, он снова пошел далее.

– Вы пришли на свадьбу г-на Жюстена? – спросила третья кумушка.

– На свадьбу с маленькой Миной, которой вы состоите опекуном? – произнесла четвертая.

Священник глядел на кумушек с возрастающим изумлением.

– Да оставьте же, наконец, в покое этого достойного человека, болтушки! – крикнул бочар, набивавший обручи на винную бочку. – Разве вы не видите, что он спешит!

– Да, действительно, я спешу, – сказал добрый священник. – Однако далековато предместье Св. Якова! Если бы я знал, что это так далеко, я взял бы карету.

– Да вот вы уже и пришли, господин аббат – остается несколько шагов.

– Будьте покойны, г-н кюре, – вы не заблудитесь. Мы проводим вас до самых дверей.

– Эй! Баболен, беги вперед и скажи г-ну Жюстену, чтобы он не беспокоился более: г-н аббат, которого он поджидал, сейчас прибывает.

– Вы никогда не были у Жюстена, господин священник?

– Нет, мои добрые друзья, я никогда не был в Париже.

– Вот как! Откуда же вы?

– Из Буйля.

– Из Буйля! Где это? – спросил чей-то голос.

– Во внутреннем департаменте Сены, – ответил другой голос.

– Действительно, Внутренняя Сена, – подтвердил аббат Дюкорне, – это восхитительная местность, которую называют Руанским Версалем.

– О! Вы найдете, что они прелестно устроились.

– А в особенности хорошо меблировали квартиру. Вот уже три недели только и видишь, что возят им мебель.

– Значит, он богат, этот господин Жюстен?

– Богат?. Да, богат, как церковная крыса!

– Но в таком случае, как же может он это делать?.

– Есть люди, которые расходуют то, что они имеют, а есть такие, которые расходуют то, чего не имеют, – пояснил цирюльник.

– Так! Уж не хочешь ли ты сказать что-либо дурное о бедном школьном учителе потому только, что он сам бреется?

– Ха, ха, ха! Он очень хорошо бреется! Три недели тому назад у него на подбородке был порез шириною в полдюйма.

– Ну так что, – заметил мальчишка, закадычный друг Баболена, – ведь подбородок-то его собственный, и он может делать с ним все, что ему угодно; никому до того дела нет; рассадит он себе на нем хоть душистый горошек, и то он будет прав!

– Поспешайте скорее, господин аббат! – произнес Баболен, исполнивший данное ему поручение, – только вас и ждут!

Минут через пять почтенный священник поравнялся с домом № 20. Жюстен и Мина поджидали его у дверей. Теперь Мина была уже не той маленькой девочкой, которую мы видели в предыдущей главе. Она выросла, сделалась красавицей и теперь приехала к Жюстену из пансиона г-жи Демаре, чтобы выйти за него замуж.

При виде этих двух прекрасных молодых людей священник остановился и улыбнулся.

– А! – произнес он про себя, – воистину, мой Боже, Ты создал их друг для друга.

Мина подбежала к нему и повисла на шее. Она знала его еще в те времена, когда этот добрый священник приходил навестить мадам Буавен и когда ей было всего восемь лет от роду.

Он обнял ее, а затем отошел несколько от нее, чтобы лучше разглядеть ее.

Он никогда не узнал бы в этой прелестной молодой девушке, готовой стать женщиной, то дитя, которое он шесть лет тому назад отправил в Париж в белом платьице, голубых ботиночках и голубом кушаке...

Нужно было еще пять минут ждать до отправления в церковь. Его ввели в комнату, где находилась уже мать Жюстена, сестра его, мадам Демаре – начальница пансиона, мадемуазель Сусанна Вальженез – подруга Мины и старый Мюллер.

– Наш дорогой кюре из Буйля, мама Корби, – представила его Мина, – г-н аббат Дюкорне.

– Да, да, – подтвердил аббат с сияющим лицом, – это я, которой пришел благословить вас и принес приданое этой красавице.

– Какое приданое?

– Да, приданое... представьте себе, что дня три тому назад я получаю письмо из Австрии и в этом письме перевод на получение десяти тысяч восьмисот франков от банкиров Руана Леклерка и Луи. К переводу приложено письмо.

– Письмо? – пробормотал Жюстен.

– Письмо? – также проговорила мадам Корби.

– А! Письмо, – произнес профессор, пораженный этим не менее мадам Корби и Жюстена.

– Вот это самое письмо.

И аббат развернул письмо, которое, действительно, было помечено иностранным штемпелем, и прочел следующее:

«Дорогой мой аббат!

Поездка моя в Индию была причиной того, что я должен был прервать мои связи с Францией и что Вы около девяти лет не имели обо мне никаких сведений. Но я Вас знаю; я знаю и достойную мадам Буавен, которой я доверил свое дитя. Мина не могла пострадать от этого.

Теперь, возвратясь в Европу и задержанный в Вене делами, не терпящими отлагательства, которые могут продлиться еще неопределенное время, я спешу переслать Вам перевод от банкиров Леклерка и Луи в Руане на сумму в десять тысяч восьмисот франков, которые я не мог Вам выслать ранее.

Кроме того, Вы получите еще до моего возвращения, дня, которого я не могу определить, сто двадцать тысяч франков, составляющих собственность моей дочери... Вена в Австрии. Отец Мины».

Мина захлопала в ладоши, и воскликнула:

– О, какое счастье, Жюстен! Папа мой жив еще!

Жюстен взглянул на свою мать. Она была бледна, поднялась со своего места и протянула руки по направлению к сыну.

– Ты понимаешь, не правда ли, сын мой, – произнесла она твердым голосом, – ты понимаешь?..

Жюстен не ответил: он плакал.

Мина глядела на всю эту сцену, ровно ничего не понимая.

– Но что с вами, мама Корби? – спрашивала она. – Что с тобою, Жюстен?

– Ты понимаешь, не правда ли, мое бедное дорогое дитя, ты понимаешь, – продолжала мать, – что ты мог жениться на Мине только тогда, когда она была бедной сиротой...

– Боже мой! – воскликнула Мина, начиная догадываться.

– Но ты понимаешь также, что ты не можешь жениться на Мине богатой и зависящей от отца? Это была бы кража, сын мой! – произнесла слепая, подняв руку к небу, точно призывая в свидетели Бога. – Ты не можешь жениться на ней без согласия отца!..

Жюстен опустил на колени перед своей матерью.

– Подведи меня к моему креслу, дитя мое, – чуть слышно произнесла слепая, – я чувствую, что силы мои оставляют меня.

Селеста подошла к ней.

– Но в чем же дело. Боже мой?! В чем же дело? – спрашивала Мина.

– Дело в том... дело в том, Мина, – произнес Жюстен, разражаясь рыданиями, – дело в том, что до того дня, пока отец твой не даст свое согласие на наш брак – а вероятнее всего, что он его никогда не даст! – мы можем быть друг для друга не более как брат и сестра.

Мина, в свою очередь, заплакала.

– О! – заговорила она. – По какому праву отец мой, которого я не знала, который кинул меня маленькой, признает меня только теперь? Пусть оставит он себе свои деньги, лишь бы оставил мне мое счастье! Оставил бы мне моего бедного Жюстена! Но не как брата, но, прости мне, Господи, как мужа!.. Жюстен!.. Жюстен!.. Мой возлюбленный, не покидай меня!..

И молодая девушка с болезненным криком упала в обморок на руки Жюстена...

Час спустя вся в слезах Мина уехала в Версаль, держась за руку своей подруги Сусанны.

XIX. Покорность провидению

Итак, брак Жюстена с Миной расстроился.

Жюстен спустился в свою крошечную комнатку. Все, что он уносил с собой со второго этажа, – это был венок из флердоранжа, который ему бросила Мина, сорвав со своей головы, при расставании с ним.

Добряк Мюллер спустился к Жюстену.

Что касается кюре, ему более нечего было делать в Париже; в шесть часов вечера он сел в почтовую карету, отправляющуюся в Руан, увозя с собою проклятые деньги, расстроившие счастье стольких лиц.

Сумрачное лицо ученика внушало Мюллеру серьезные опасения. В надежде развеять тяжелые мысли его он было принялся говорить с Жюстеном о школе, о времени, предшествовавшем моменту, когда тот встретился с маленькой девочкой. Но Жюстен, в свою очередь, вспомнил довольно обстоятельно, день за днем, ту блаженную жизнь, которую он вел в продолжение шести лет.

– Мы были слишком счастливы! – заключил он. – Я забыл, что мне всегда следовало быть готовым рано или поздно поплатиться за ту победу, которую я вырвал у моей злосчастной судьбы... Но не трудитесь успокаивать и ободрять меня, дорогой мой учитель. Не считайте меня способным на какое-либо темное решение... Разве я, прежде всего, принадлежу сам себе? Разве я не обязан заботиться о моей матери и моей сестре? Нет, нет, дорогой учитель, моя участь вполне выяснилась: я боролся и борюсь с бедностью, я буду бороться и с горем... Дайте несколько дней зажить моей ране. Позвольте уединиться на это время. Покорность судьбе, дорогой учитель, это сила для слабых, и вы увидите меня вновь вступившим в битву с жизнью, более крепким и более опытным.

Старый учитель вышел, пораженный, почти даже испуганный этой великой покорностью молодого чело века, но зато он вполне успокоился за последствия его отчаяния.

Проводив Мюллера, Жюстен вернулся в свою комнату и начал медленно ходить по ней взад и вперед, скрестив руки и опустив голову.

До трех часов утра ходил он таким образом по комнате. Горе его сосредоточилось, если можно так выразиться, в груди его и душило его. Он бросился на постель; усталость взяла свое, и он наконец заснул.

По счастью, следующий день был вторник масленой недели, а потому он свободно мог отдаться своему горю, для того чтобы побороться с ним своими силами. Борьба длилась целый день. Под вечер, простившись с матерью и сестрою, он направился к тому месту, где прекрасной июньской ночью нашел во ржи малютку.

Теперь не было более видно ни васильков, ни мака, ни других полевых цветов: зима сковала землю так же, как горе сковало его сердце.

Надежды никакой ему больше не оставалось. Ему было ясно, что Мина принадлежала к какой-то богатой, аристократической семье, какой же шанс мог представиться для того, чтобы ее отдали за него, простолюдина и бедняка?

Он вернулся к себе домой в десять часов вечера, сделав пятнадцать лье за день, но не чувствуя ни малейшей усталости.

Его мать и сестра ожидали его, обе полные беспокойства.

Он вошел с улыбкой на лице, обнял их обеих и спустился в свою комнату, вынул из шкафа виолончель и ноты и заиграл ту самую торжественную и меланхолическую мелодию, которую слышали Сальватор и Жан Робер за два часа до начала этого рассказа...

Историю эту оба молодых человека слушали каждый под особым впечатлением.

Сальватор слушал его с кажущимся равнодушием, но Жан Робер не скрывал тяжелого впечатления, которое на него произвел этот рассказ. Оба они понимали, что всякие соболезнования и утешения здесь не имели смысла.

– Милостивый государь, – произнес наконец Жан Робер, – было бы недостойно и вас, и нас, если бы мы позволили себе предлагать вам банальные утешения... Вот наши адреса, и если вы когда-нибудь будете нуждаться в друзьях, мы просим вас отдать нам предпочтение перед другими.

С этими словами он вырвал листок из своей записной книжки и, написав на нем оба имени с адресами, передал его Жюстену.

В этот самый момент раздался сильный стук в двери.

Кто мог стучаться в эту пору? Ведь уже начинало светать. Сальватор, выходявший уже с Жаном Робером, отворил дверь.

Стучавшийся оказался ребенком тринадцати или четырнадцати лет, с белокурыми кудрявыми волосами, розовыми щечками и в немного изорванной одежде. Это был тип парижского гамена, в синей блузе, фуражке без козырька и в стоптанных башмаках.

Он поднял голову, чтобы взглянуть на того, кто отворил ему дверь.

– Так это вы, господин Сальватор, – произнес он.

– Зачем ты пришел сюда в эту пору, господин Баболен? – спросил комиссионер, дружески схватив гамена за воротник его блузы.

– Я принес г-ну Жюстену, школьному учителю, письмо, которое нашла Броканта этой ночью, во время своего обхода.

– Кстати, о школьном учителе, – сказал Сальватор, – ты ведь помнишь, что обещался мне выучиться читать к 15 марта?

– Ну что ж! Сегодня только 7 февраля: время еще есть!

– Ты знаешь, однако, что если ты не будешь в состоянии бегло читать к 15, то 16-го я отнимаю у тебя книги, которые дал тебе?

– Как, даже и те, с рисунками?... О, господин Сальватор!

– Все без исключения!

– Ну, если так, то знайте, что мы умеем читать, – сказал ребенок.

И, взглянув на адрес письма, он прочел:

«Господину Жюстену, предместье Св. Якова, № 20.

Луидор награды тому, кто доставит ему это письмо».

Как адрес, так и приписка на письме написаны были карандашом.

– Неси скорей! Неси скорей, дитя мое! – Произнес Сальватор, толкнув Баболена в сторону помещения школьного учителя.

Баболен в два шага перешел двор и вошел с криком:

– Господин Жюстен! Господин Жюстен! Вот письмо!..

– Что нам делать? – спросил Жан Робер.

– Останемся, – ответил Сальватор, – очень возможно, что письмо это возвещает что-нибудь новое, и наше присутствие может быть полезно этому мужественному молодому человеку.

Сальватор не закончил еще своих слов, как Жюстен появился на пороге своей комнаты бледный, как привидение.

– А! Вы еще здесь! – воскликнул он. – Слава богу! Читайте, читайте...

И он протянул письмо молодым людям. Сальватор взял письмо и прочел следующее:

«Меня увозят насильно, меня тащат, не знаю куда! Спаси меня, Жюстен! Спаси меня, брат мой! Или же отомсти за меня, мой жених!

Мина».

– О, мои друзья! – вскричал Жюстен, протягивая руки к молодым людям. – Само провидение привело вас сюда!

– Ну, – обратился Сальватор к Жану Роберу, – вы так желали романа. Надеюсь, теперь он начинается, мой друг!

XX. Прямая короче ломаной

С минуту молодые люди переглядывались.

В первый момент их охватило оцепенение, но во второй самообладание уже вернулось к Сальватору.

– Прежде всего, хладнокровие, – произнес он, – дело, кажется, серьезное.

– Но ведь ее хотят похитить! – вскричал Жюстен. – Ее увозят!.. Она призывает меня к себе на помощь!

– Все это совершенно верно, а потому именно и нужно сперва узнать, кто ее похищает и куда увозят.

– О! Как узнать это? Боже мой! Боже мой!

– Все узнается со временем, только нужно терпение, мой дорогой Жюстен. Вы ведь уверены в Мине, не правда ли?

– Как в самом себе!

– Если так, будьте спокойны: она сумеет защитить себя... Баболен здесь еще?

– Да.

– Спросим его.

– В самом деле, – подтвердил Жан Робер, – с этого мы и должны начать.

Все вернулись в комнату школьного учителя.

– Прежде всего, – сказал Сальватор, – дайте луидор этому ребенку для его матери и сколько-нибудь мелочи ему самому.

Жюстен достал из рваного кошелька два луидора и две пятифранковые монеты, которые и передал Баболену.

Но Сальватор овладел рукою ребенка в тот самый момент, как она взяла протянутое ей, насильно раскрыл ее и, к великому отчаянию Баболена, отнял у него один из луидоров и одну пятифранковую монету, возвратил их Жюстену.

– Положите эти двадцать пять франков в ваш кошелек обратно, – произнес он, – через час они, может быть, вам пригодятся.

Затем, повернувшись к ребенку, он сказал:

– Где твоя мать нашла это письмо?

– А я почему знаю? Спросите ее сами, – ответил Гамен недовольным тоном.

– Он прав, – сказал Сальватор, – об этом, конечно, нужно спросить ее. Очень возможно, что она рассчитывает на ваше посещение... Позвольте! Укрепим хорошенько наши батареи... Господин Жюстен, вы должны последовать за этим ребенком к его матери.

– Я готов.

– Погодите... Жан Робер, достаньте оседланную верховую лошадь и приезжайте на ней на Кишечную улицу, № 11.

– Я же отправлюсь сделать заявление в полицию.

Я знаю того человека, который нам может быть нужен... Затем мы встретимся с вами на Кишечной улице № 11, у матери этого ребенка, и там обдумаем дальнейший план наших действий.

– Пойдем, малютка, – сказал Жюстен.

– Оставьте предварительно записку для успокоения вашей матушки, – продолжал Сальватор, – очень возможно, что вы вернетесь домой очень поздно или даже и вовсе не вернетесь.

– Вы правы, – заметил Жюстен. – Бедная мать! Я забыл о ней.

И он набросал наскоро несколько строк на лоскуте бумаги, который и оставил открытым на столе в своей комнате. Он извещал свою мать без дальнейших объяснений, что полученное только что им письмо потребовало у него в свое распоряжение целый день.

– Ну, теперь идем, – сказал он.

Все трое молодых людей вышли из дому. Было не более половины седьмого утра.

– Вот ваш путь, – сказал Сальватор, показав Жюстену вдоль улицы Урсулинок. – Вот это ваша дорога, – прибавил он, указывая Жану Роберу на Грязную улицу, – а это моя дорога, – продолжал он, направляясь на улицу Святого Якова.

Кишечная улица, как известно каждому, это не что иное, как переулок, идущий параллельно Щепенной улице.

Весь этот квартал напоминал в то время Париж времен Филиппа-Августа. Луи грязи, окружавшие стены тюрьмы Св. Пелагеи, придавали этому зданию вид древней крепости, построенной среди острова. Эти улицы, шириною не превосходившие восьми или десяти футов, были завалены кучами навоза и мусора. Короче говоря, это были клоаки, где прозябали несчастные обитатели этих кварталов в зданиях, более похожих на чуланы, чем на дома.

Перед одним из таких чуланов Баболен остановился.

– Вот здесь, – произнес он. – Ухватитесь за край моей блузы.

Жюстен ухватился за подол блузы Баболена и, шаг за шагом, стал влезать по крутым ступам, претендовавшим на название лестницы и ведущим к помещению Броканты.

Они достигли двери конуры. Жилище Броканты, казалось, во всех отношениях оправдывало это название: лишь только они поднялись на площадку, раздался пронзительный лай дюжины собак, которые тявкали, рычали и визжали на все голоса, точно свора гончих, напавшая на след.

– Это я, мама, – произнес Баболен, сложив свои руки наподобие слуховой трубы и приставляя их к замочной скважине. – Откройте! Я с гостем!

– Замолчите вы, бешеная сила! – раздался из комнаты голос Броканты. – Ничего не слышно... Да замолчишь ли ты, Цезарь!.. Замолчите вы все!

И при этой команде, произнесенной угрожающим голосом, водворилась полнейшая тишина.

– Ты можешь войти теперь, ты и гость твой, – послышался опять голос.

– А как?

– Тебе стоит только толкнуть дверь: засов не задвинут.

Баболен приподнял защелку, толкнул дверь, в которую пропустил Жюстена, и глазам их представилось зрелище, которое, хотя и не было очень поэтичным, тем не менее, заслуживает нескольких слов.

Это был не более как чердак с осевшей, ветхой крышей. С дюжину собак: догов, пуделей и других пород – обитали в одном из углов комнаты, причем вся эта дюжина была заключена в старую корзину из прутьев, в которой их могло поместиться свободно не более четырех или пяти.

На крестовине, образуемой двумя бревнами, поддерживавшими крышу, сидела ворона, которая махала крыльями, вероятно, выражая тем свою радость во время концерта, устроенного собаками.

На скамейке, прислоненной к нижнему основанию бревна, под подобием полога из лоскутьев материи всех цветов, который поднимался по стене на высоту трех или четырех футов, сидела женщина, на вид лет пятидесяти, высокая, худая и костлявая. Между ее ногами стояла на коленях девочка, которой старуха с особым старанием расчесывала ее длинные черные волосы.

Вся эта сцена, не лишенная своеобразной живописности, освещалась глиняной лампой, поставленной на опрокинутую корзину и похожей по своей форме на те римские светильники, которые находят при раскопках Геркуланума и Помпеи.

Старая женщина, которую Баболен назвал именем Броканты, была одета в темное платье, до того густо покрытое разными заплатами, что представляло собою оттенки всевозможных темных цветов, точно образчики материй портного.

Девочка, которую она держала меж ног своих, была одета только в рубашку из небеленого холста. Рубашка эта имела вид блузы, перетянутой в поясе подобием веревки серо-лилового цвета; шея и грудь ребенка были прикрыты совершенно изорванным вишневым шерстяным шарфом. Ноги ее были босы.

Что касается ее лица, которое она повернула в сторону двери в тот момент, когда вошли Баболен и школьный учитель, то оно отличалось той болезненной бледностью, которая свойственна бедным, чахлым растениям наших предместий. Черты ее лица отличались поразительной правильностью и тонкостью; но исхудалые контуры этой изможденной фигуры, глаза, окруженные синевой, впалость их орбит, беспокойство во взгляде, худые щеки этого, казавшегося тридцатилетним ребенка – все это вместе взятое производило какое-то странное и фантастическое впечатление, которое, вероятно, дало бы нашему другу Петрюсу, если бы он очутился перед этою очаровательною моделью, мысль воспользоваться ею для изображения Медеи в детстве.

Скажем теперь из опасения спутать наш рассказ, – так как, в конце концов, история Жюстена и Мины не более как эпизод, – скажем теперь, что было известно об этом загадочном и поэтичном существе.

Мы найдем впоследствии Баболена и школьного учи теля на пороге комнаты, в которой мы их и оставляем.

XXI. Рождественская роза

Однажды вечером, около десяти часов, Броканта воз вращалась в маленькой тележке, запряженной ослom, с бумажной фабрики Ессона, где она продала тюк тря пок. Вдруг она увидела показавшуюся с краю дороги и как будто вышедшую из канавы фигуру ребенка, который бросился к ней с распростертыми руками, бледный, запыхавшийся, дрожащий всем телом и с выражением самого глубокого ужаса на лице.

– Помогите! Помогите! Спасите меня! – кричал он. Броканта принадлежала к числу тех цыган, которые имеют особую манию похищать детей, как хищные птицы похищают жаворонков и голубей. Она остановила своего осла, соскочила с тележки, взяла девочку на руки, вскочила с нею обратно и стала погонять осла.

Событие это, быстрое как мысль, произошло в пяти лье от Парижа, между Жювизи и Фроманто.

Занятая лишь тем, чтобы скорее удалиться, Броканта вздумала взглянуть на ребенка не ранее, чем сделав приблизительно около четверти лье рысью на своем осле.

Девочка была с непокрытой головой. Ее длинные косы, распустившиеся или во время бега, или во время борьбы, ею выдержанной, болтались позади, по лицу струился пот. Все свидетельствовало о далеком пути, проделанном ею через поля, а ее белое платье было сплошь испачкано кровью, сочившейся из неглубокой, к счастью, раны, которая, казалось, была нанесена, или, скорее, ее пытались нанести, каким-то острым оружием.

Очутившись в тележке, маленькая девочка, имевшая на вид не более пяти или шести лет, воспользовалась тем, что обе руки Броканты были заняты вожжами, и со скользнула с колен женщины на дно тележки, и на все вопросы, обращаемые к ней, повторяла лишь одно и то же:

– Она не бежит за мной? Она не гонится за мной?

На это Броканта, которая, казалось, боялась погони не менее ребенка, украдкой высовывала из тележки свою голову, покрытую холщовым чепцом, оглядывалась на дорогу и, не видя на ней никого, уверяла в этом ребенка, у которого страх был до того велик, что боль, причиняемая раной, видимо, представлялась ей не стоящей внимания мелочью.

Около полуночи – так сильно Броканта, разделяя волнение девочки, погоняла своего осла – около полуночи достигли они заставы Фонтенбло.

Остановленная у решетки стражниками, Броканта высунула только свою голову и сказала: «Это я, Броканта», и так как стражники уже привыкли видеть ее проезжающей раз в месяц с грузом тряпок и затем на следующий день возвращающейся с пустой тележкой, то и пропустили в город старуху с ребенком беспрепятственно.

Что касается девочки, присевшей на корточки или, скорее, свернувшейся клубком на дне тележки, то, как мы уже сказали выше, она не подавала никаких других признаков своего существования, как только время от времени с ужасом спрашивала Броканту:

– Она не гонится за мною? Скажите, она не гонится за мною?..

Едва она успела выйти из тележки, как устремилась в коридор, достигла лестницы и побежала по ее ступеням так быстро, как бы это мог сделать самый проворный котенок.

Броканта поднялась за нею, отворила дверь своего чулана и сказала ей:

– Войди сюда, малютка! Никто не узнает, что ты здесь, будь же покойна.

Броканта захлопнула дверь и заперла ее на ключ; затем спустилась вниз, чтобы поместить свою тележку под навес, а осла – в конюшню.

Вернувшись, она зажгла огарок свечи, вставленный в разбитую бутылку, и, осветив себя этим слабым ночником, стала осматривать бедную маленькую беглянку. Девочка пробралась ощупью в самый отдаленный уголок чердака, опустила на колени и начала молиться.

Броканта ее окликнула, но малютка отрицательно покачала головой.

Старуха за руки притянула ее к себе и начала расспрашивать. На все вопросы ребенок твердил лишь одно:

– Нет, она убила бы меня!

Таким образом, Броканта не могла узнать, ни откуда родом было дитя, ни того, кто были ее родители, ни ее имени, ни того даже, за что ее хотели убить и кто нанес рану, оказавшуюся на ее груди.

Малютка в течение почти года хранила полнейшую немоту. Лишь во время сна, под влиянием кошмаров, она иногда вскрикивала:

– О! Пощадите, пощадите, мадам Жерар! Я вам не делала зла, не убивайте меня!

Единственное, что можно было узнать, это имя женщины, пытавшейся убить ее, – мадам Жерар.

Что же касается девочки, то ее, конечно, нужно было называть каким бы то ни было именем, и так как она была бледна, точно роза, цветущая среди зимы, то Броканта, нисколько не сомневаясь в поэтическом имени, которое она ей давала, назвала ее «Рождественской Розой».

Так это имя и осталось за нею.

В тот вечер, видя, что дитя не хочет ничего сказать, и в надежде, что оно будет назавтра разговорчивее, старуха указала ей нечто вроде плохой кровати, на которой спал ребенок одним или двумя годами старше ее, и велела улечься рядом с ним.

Но она наотрез отказалась. Ясно было, что цвет матраца и грязное покрывало вселяли отвращение девочке. Ее тонкое белье и элегантный крой платья показывали, что она происходила далеко не от бедных родителей.

Она взяла стул, прислонила его к стене и уселась на нем, уверяя, что ей тут отлично. И действительно, она провела всю ночь на этом стуле.

Около шести часов утра, пока ребенок еще спал, Броканта встала и вышла из дома.

Она направилась в сторону улицы Св. Медара, чтобы купить полный костюм для девочки. Этот полный костюм состоял из платья голубой бумажной материи с белыми точками, из желтого платка с красными цветами, детского чепчика, двух пар шерстяных чулок и одной пары башмаков.

Все это вместе стоило семь франков. Броканта рассчитывала наверняка продать все старое платье девочки за плату вчетверо большую.

Час спустя она возвратилась со своею покупкою и нашла девочку по-прежнему примостившейся на соломенном стуле и отказывавшейся поиграть с Баболеном.

Когда ключ повернулся в замке, девочка задрожала всем своим телом, а когда дверь открылась, она стала бледней смерти.

Видя, что она готова лишиться чувств, Броканта спросила, что с нею.

– Я полагала, что это она! – отвечала девочка.

«Она!» Итак, это, без сомнения, женщина, которой она избегала.

Броканта развесила на скамейке ее голубое платье, желтый платок, чепчик, чулки и башмаки.

Ребенок с беспокойством следил за ее действиями.

– Ну-ка, подойди сюда! – сказала Броканта ребенку.

Девочка, не поднимаясь со стула и указывая пальцем на одежду, произнесла презрительно:

– Эта одежда для меня?

– А для кого же? – ответила Броканта.

– Я не надену ее, – продолжало дитя.

– Ты хочешь, значит, чтобы она узнала тебя?

– Нет, нет, я этого не хочу!

– В таком случае, нужно надеть эту одежду.

– А разве в этой одежде она не узнает меня?

– Нет.

– В таком случае переоденьте меня скорее!

И без какого-либо сопротивления она позволила снять с себя свое хорошенькое беленькое платьице, свои тонкие чулки, батистовые юбочки и крошечные башмачки.

Все это было замарано кровью: ее следовало замыть, чтобы не возбудить подозрения у соседей.

Итак, девочка одета в одежду, купленную ей Брокантой, облачена в позорное покрывало нищеты, открытый символ жизни, ее ожидающей.

Броканта выстирала одежду ребенка, просушила ее и продала за тридцать франков.

Это была уже хорошая нажива.

Но старая колдунья сильно надеялась со временем на еще больший выигрыш: найти родителей девочки и вернуть ее, конечно, за хорошие деньги обратно семье.

То же отвращение, какое выразил ребенок при перемене платья, обнаружил он, когда дело коснулось участия в завтраке семьи.

Обрезок говядины, разогретый на сковороде, и кусок черного хлеба, или купленный вблизи, или выпрошенный Христа ради в городе, – вот что составляло обыденную пищу Броканты и ее сына. Баболен, который никогда не ел другого обеда, кроме того, чем его кормила мать, не имел особых гастрономических желаний, но Рождественская Роза не могла согласиться с этим.

Без сомнения, эта бедная девочка привыкла к более изысканным блюдам, чем и объясняется то, что она довольствовалась лишь одним взглядом на завтрак Баболена и Броканты и проговорила:

– Я не хочу есть.

Во время обеда произошло то же.

Броканта поняла, что избалованное дитя, скорее, решилось бы уморить себя голодом, чем прикоснуться к ее угощениям.

– Чего же ты хочешь? – спрашивала она девочку. – Фазанов с апельсинами или пулярок с трюфелями?

– Я не хочу ни пулярок с трюфелями, ни фазанов с апельсинами, – отвечала девочка, – но мне бы очень хотелось куска белого хлеба, какой у нас подавали бедным по воскресным дням.

Броканта, как ни была она груба, была тронута этим ответом. Она дала Баболену один су и сказала:

– Пойди принеси маленький хлебец из булочной.

Баболен в один прыжок спустился с лестницы и через пять минут возвратился с маленьким хлебцем со светло-желтой коркой.

Бедная Роза была очень голодна, и она съела этот хлебец, не оставив ни одной крошки.

– Ну, что, теперь тебе лучше? – спросила Броканта.

– Да, мадам, и я вас благодарю, – ответило дитя.

Никому до сей поры не приходило в голову назвать Броканту «мадам».

– Хороша мадам! – засмеялась она. – Ну, а теперь, мадемуазель княжна, что вы хотите для десерта?

– Мне бы хотелось стакан воды, – отвечала девочка.

– Дай сюда горшок, – сказала Броканта сыну.

Баболен подал горшок и предложил его девочке.

– Вы пьете из него? – спросила она ласковым голосом Баболена.

– Это мать пьет из него, а я пью залпом.

И, приподняв горшок на полфута над своей головой, он начал лить в рот воду с ловкостью, доказывавшей привычку его к этому упражнению.

– Я не буду пить, – сказал ребенок.
– Почему же? – спросил Баболен.
– Потому что не умею пить, как вы.
– Ты разве не догадываешься, что барышне нужен стакан, – произнесла Броканта, пожимая плечами.

– Стакан? – переспросил Баболен. – Здесь должен найтись где-нибудь стакан!

И, поискав с минуту, он обнаружил стакан в каком-то углу.

– Получай, – сказал он, наполняя стакан водою, и предлагая его девочке, – пей!

– Нет, – произнесла она, – я не буду пить.

– А почему ты не будешь пить?

– Потому что у меня нет жажды.

– Да, но ведь ты просила пить?

Девочка отрицательно покачала головой.

– Я не могу пить из грязного стакана, – тихо и робко произнесла она и прибавила со слезами: – а все-таки я страшно хочу пить.

Баболен спустился, побежал к соседнему фонтану, в три или четыре приема вымыл стакан и принес его обратно прозрачным, как богемский хрусталь, и наполненным свежей и чистой водой.

– Мерси, мосье Баболен, – сказала девочка.

И она проглотила стакан воды в один прием.

– О! Мосье Баболен! – вскричал гамен, перекувырнувшись. – Скажи на милость, мать, когда это о нас будут говорить: «мосье Баболен и мадам Броканта»!

– Простите, – возразил ребенок, – меня учили говорить всем «мосье» и «мадам», я не буду больше говорить так, если это не хорошо.

– Нет, мое дитя, нет, это хорошо, – сказала Броканта, покоренная против своей воли этой тонкостью обращения, которое простонародье иногда осмеивает, но которая вместе с тем производит на них всегда впечатление.

Вечером, когда ложились спать, та же сцена, что и накануне, повторилась.

Мать с сыном спали на одном матрасе, брошенном среди тряпья в углу комнаты, а Роза опять спала ночь на стуле.

На следующее утро Броканта опять сделала уступку. Она взяла с собой тридцать франков, вырученных за одежду ребенка, и купила кроватку в сорок су, матрас в десять франков, хотя немного тоненький, но зато чистый, подушку в три франка пятьдесят сантимов, две пары простынь из мадеполама и бумажное одеяло. Все это отличалось безукоризненной белизной. Она приказала принести все вещи в свой чулан.

Всего было на сумму ровно двадцать три франка.

– Это для вас, мадемуазель. Оказывается, вы княжна, а потому с вами обращаются, как с княжной.

– Я не княжна, – ответила девочка, – но там у меня была беленькая постелька.

– Ну, так вы и здесь будете иметь такую же, как там... Довольны вы?

– Да, вы очень добры! – сказала девочка.

– Теперь, где вы думаете поместиться? Не нанять ли вам на улице Риволи квартиру над антресолями?

– Хотите дать мне этот угол? – спросила девочка. И она указала на углубление чердака, захватывавшего часть соседнего.

Постельку втиснули в угол.

Мало-помалу угол стал заполняться мебелью и походило на комнату.

Броканта была далеко не так бедна, как она выглядела, только была ужасно скупа, и ей стоило страшных усилий достать деньги из копилки, в которой они у нее хранились. Но она обладала одной прибыльной способностью: умела гадать на картах.

И вот вместо того, чтобы заставлять платить себе деньгами, – последнее обстоятельство, впрочем, и без того вызывало некоторое затруднение среди того бедного квартала, в котором она жила, – она не отказывалась брать себе плату натурой.

У ветошницы она вытребовала занавес из подобию персидской материи, у столяра – маленький столик, у старьевщика – ковер; так что уголок Рождественской Розы к концу месяца оказался меблированным настолько, что угол чердака, в котором она обитала, выглядел очень уютно.

Роза была почти счастлива. Мы сказали «почти», потому что платье из синей бумажной материи, желтый платок с красными цветами, шерстяные чулки и ее треугольный чепчик очень ей не нравились.

И по мере того, как эти предметы изнашивались, Роза составляла себе костюм по своему вкусу и особенно занималась своими роскошными, длинными волосами, которые падали до самых пяток ее красивых ножек.

Но так как девочка никогда не выходила, а солнце не проникало на чердак иначе, как только через узкие просветы; так как она не ела ничего, кроме хлеба, и не пила ничего, кроме воды; так как холод проникал со всех сторон в чулан Броканты, и, наконец, так как вне зависимости от времени года она была одета почти всегда одинаково: и в десять градусов мороза, и в двадцать пять градусов жары, – она имела в силу всего этого болезненный и страдальческий вид.

О ее семье и о ужасном событии, приведшем ее к Броканте, которая начала даже любить несчастного ребенка, насколько она была способна полюбить, – об этом никогда не говорилось более того, что мы уже знаем.

Вот какова была Рождественская Роза, иначе сказать, дитя, которое стояло на коленях между ног Броканты в тот момент, когда Баболен и школьный учитель показались на пороге чулана.

XXII. Зловещий ворон

Зрелище, представшее перед глазами Жюстена, могло бы привлечь внимание каждого человека, менее погруженного в свои мысли; но он поднялся на чердак, будучи совершенно нечувствительным ко всяким другим соображениям, кроме тех, которые сжимали его сердце.

– Мать, – произнес Баболен, входя с молодым человеком, – вот господин Жюстен, школьный учитель, который пожелал лично прийти к тебе, чтобы спросить о том, чего я не могу рассказать ему.

Старуха усмехнулась с видом, говорившим, что она ожидала этого посещения.

– А луидор? – спросила она вполголоса.

– Вот он, – отвечал Баболен, опуская ей в руку золотую монету. – Но вам не мешало бы купить на это Розе хорошее ватное пальто.

– Мерси, Баболен, – сказала девочка, подставляя свой лоб гамену, который братски поцеловал ее, – но мне не холодно.

И при этих словах она два или три раза так кашлянула, что этот кашель решительно противоречил ее последним словам и доказывал, что грудь ее была не совсем в порядке.

– Мадам... – начал Жюстен.

При слове «мадам» Броканта подняла голову, точно желала убедиться, к ней ли относилось это обращение.

Жюстен был второй личностью, которая называла ее «мадам»; первой была Роза.

– Мадам, – повторил Жюстен, – это вы нашли письмо?

– Ну, конечно, – отвечала Броканта, – если я переслала его к вам.

– Да, – продолжал Жюстен, – и я за это очень благодарен, но я бы хотел спросить вас, где вы нашли его?

– В квартале Святого Якова, где же еще?

– Я бы хотел знать, на какой улице?

– Не заметила надпись; но это должно быть примерно в промежутке между улицами Дофина и Муффетор...

– Постойте, – перебил Жюстен, – напрягите всю вашу память, умоляю вас...

– Да! Это верно, – отвечала Броканта, – думаю, что это было на улице Сент-Андре д'Арк.

Для наблюдателя, более знакомого, чем Жюстен с такого рода цыганками, с какой ему пришлось иметь дело, было бы ясно, что Броканта вела разговор по заранее обдуманному плану.

Жюстен, казалось, понял это.

– Вот, – сказал он, – возьмите это, чтобы возбудить свою память.

И он подал ей еще один луидор...

– Послушай, мать, – вмешался Баболен – сделай одолжение господину Жюстену. Он не то что другие, и его достаточно уважают в квартале Святого Якова...

– Что ты мешаешься, мальчишка? – перебила его старуха. – Пойди-ка лучше вон!

– Броканта, – произнесла Роза своим кротким, певучим голосом, – вы видите, что этот молодой человек очень беспокоится; скажите ему все, я очень вас прошу.

– О! Заклинаю вас, прелестное дитя, – начал школьный учитель, складывая свои руки, – просите за меня!

– Она вам скажет, – ответила девочка.

– Она скажет! Она скажет!.. Конечно, я скажу, – ворчала старуха. – Ты хорошо знаешь, что я ни в чем не могу отказать тебе.

– Ну, что же, мадам? – спросил Жюстен, едва сдерживая свое нетерпение. – Одно только усилие памяти! Вспомните... Вспомните, ради бога!

– Я полагаю, что это было... Да, это именно там и было, теперь я уверена в этом... Можно и погадать... Карты скажут.

– В таком случае, – произнес Жюстен, говоря сам с собою и не обращая внимания на последующие слова Броканты, – они должны были переправиться через Сену у Нового моста, по направлению к заставе Фонтенбло или к заставе Св. Якова.

– Именно, – прибавила Броканта.

– Откуда вы знаете? – спросил молодой человек.

– Я ничего не знаю, – возразила Броканта, – кроме только того, что я нашла на площади Мобер письмо на ваше имя, которое я вам и послала.

– Броканта, – вмешалась Роза, – вы злая! Вы знаете еще кое-что и не хотите сказать...

– Нет, – отрезала грубо Броканта, – я ничего больше не знаю.

– Ты, мать, худо делаешь, поступая так с этим господином: он друг г-на Сальватора.

– Я не гоню господина; я говорю ему только, что не знаю того, о чем он меня спрашивает. Когда чего не знают, то спрашивают у того, кто знает.

– У кого же следует спросить? Говорите же!

– У того, кто знает все: у карт.

– Хорошо, – сказал школьный учитель. – Спасибо вам и за то, что вы мне сообщили. Теперь я пойду в полицию, – там и г-н Сальватор.

С этими словами молодой человек сделал несколько шагов по направлению к двери. Однако Броканта, веро ятно одумавшись, снова заговорила:

– Господин Жюстен!

Молодой человек обернулся. Старуха указала ему пальцем на ворону, которая хлопала крыльями над его головой.

– Взгляните на птицу, – продолжала она, – взгляните на птицу!

– Я ее вижу, – ответил Жюстен.

– Вы видите, она бьет крыльями. А это доказывает, что для вас нет большой надежды.

– Но разве это имеет какое-либо значение?

– Господи Иисусе! И вы это спрашиваете? Неужели человек, столько учившийся, как вы, школьный учитель, не знает, что ворона – вещая птица! И это хлопанье крыльями означает, что не так-то скоро найдете вы особу, которую ищете... Я бы вам посоветовала, прежде чем приняться за розыск, послушать, что скажут карты. Может, это и пригодилось бы вам...

Как утопающий хватается за соломинку, Жюстен ухватился за предложение Броканты, если и не расположенный верить картам, то понимавший, что старая колдунья хочет что-то высказать ему.

– Как вам гадать – в малую или большую игру? – спросила Броканта.

– Делайте, как знаете... Вот вам луидор.

– О! Я вам разложу большую игру... Подай мне карты, Роза.

Девочка поднялась, и при этом выказалась вся ее стройность и гибкость. Она подошла к большому сундуку, скрытому в одном из углов, вынула и передала старухе карты своими тонкими и бледными ручками.

Несмотря на привычку, которую он имел, без сомнения, к этим каббалистическим опытам, Баболен приблизился к старухе, присел на пол, скрестив под собой ноги и приготовился смотреть на сцену матери.

Броканта вытащила из-за своей спины большую сосновую доску в форме подковы, которую положила себе на колени.

– Кликни Фареса, – сказала она девочке, кивнув головой в сторону висевшей на бревне птицы.

– Фарес! – произнесла своим певучим голосом девочка.

Ворона скакнула с бревна на правое плечо девочки, которая присела возле старухи, наклонив немного в ее сторону плечо, на котором поместилась птица.

Броканта произнесла какой-то странный, гортанный звук, одновременно походивший и на свист, и на крик.

По этому пронзительному звуку вся свора собак, как видно, вышколенных, в один прыжок, сталкиваясь друг с другом, выскочила из своей клетки и разместилась по правую сторону от чародейки, образовав при этом правильный круг, в центре которого находилась Броканта.

Броканта попеременно поглядела на птицу и собак, и когда этот осмотр кончился, торжественным голосом произнесла какие-то слова на совершенно неизвестном языке, возможно, арабском.

Мы не знаем, поняли ли Баболен, Роза и Жюстен смысл этих слов, но можем сказать утвердительно, что его очень хорошо поняли собаки и ворона, о чем можно было судить по ровному, согласованному лаю собак и пронзительному крику птицы.

Вся эта группа была освещена красноватым светом низкой лампы.

Наконец колдунья протянула свою руку в пространство и начала ею описывать гигантские круги в воздухе.

– Тихо! – произнесла она. – Карты станут говорить.

Собаки и ворона притихли.

Старая сивилла стасовала карты и дала их снять левой рукой Жюстену. Карты начали свое откровение.

– Вот, – сказала она, – вы пришли сюда спросить об одной личности, которую вы очень любите?

– О! Которую я обожаю! – перебил Жюстен.

– Она бубновая дама, это значит кроткая и любящая женщина.

Относительно Мины это было, конечно, верно.

Каждый раз, как выходили карты одной масти, она брала старшую из них, укладывала ее перед собою, располагая следующие карты по старшинству от левой руки к правой.

После шести таких приемов перед нею лежали шесть карт.

По окончании этой первой манипуляции она вновь стасовала карты, вновь заставила Жюстена снять левой рукой и возобновила свои проделки в той же последовательности.

Так она продолжала, пока перед нею не оказалось семнадцать карт.

– Вот, – снова заговорила она, – та, которую вы любите – молодая девушка, блондинка, лет шестнадцати или семнадцати.

– Это верно, – подтвердил Жюстен.

Она отсчитала еще семь карт и указала на опрокинутую семерку червей.

– Несостоявшийся проект!.. Вы имели относительно нее намерение, которое не удалось...

– Увы! – пробормотал Жюстен.

Старуха опять отсчитала семь карт и указала на девятку треф.

– Предположение ваше расстроилось через деньги, которых не ожидали... и, странная вещь, – продолжала она, – эти деньги, которые обыкновенно приносят радость, заставили вас плакать!.. Но, вот письмо, которое я переслала вам, принадлежит молодой особе, которой угрожают тюрьмой...

– Тюрьмой? – воскликнул Жюстен. – Это невозможно!

– Да, тут эти карты... тюрьма, заключение...

– Впрочем, и в самом деле, – пробормотал Жюстен, – если ее похищают, то для того, чтобы скрыть ее... Продолжайте, продолжайте! Вы были правы до сих пор.

– Зло идет к вам от черной женщины, которую та, что вы любите, считает за своего друга.

– Неужели мадемуазель Сюзанна де Вальженез, ее подруга?

– Карты говорят: черная женщина – значит брюнетка; они не называют имени... О, тут есть заговор... Но вам помогает в настоящее время один верный человек.

– Сальватор! – пробормотал Жюстен. – Это имя, которое он сообщил мне.

– Но, – продолжала старуха, – кажется, его предприятие запоздало... Ай, ай!.. Эта девица похищена молодым человеком, брюнетом...

– Женщина! – вскричал Жюстен. – Где она? Скажите, где она? И все, что я имею, я отдам тебе.

И, пошарив в карманах, он вытащил горсть денег, которые хотел было бросить на стол, на котором Броканта гадала, но вдруг почувствовал, что его схватили за руку. Он обернулся: это был Сальватор, который вошел незамеченным.

– Положите эти деньги обратно в ваш карман, – произнес он. – Сойдите лучше вниз, вскочите на лошадь Жана Робера и скачите в Версаль. Теперь половина восьмого, в половине девятого вы можете быть у мадам Демаре.

– Но... – начал было Жюстен, колеблясь.

– Поезжайте, не теряя ни минуты времени, – сказал Сальватор. – Так нужно. Иначе я ни за что не отвечаю.

– Я еду, – сказал Жюстен.

Он быстро сошел вниз, принял поводья из рук Жана Робера, вскочил в седло и пустился галопом кратчайшим путем, ведущим к дороге на Версаль.

XXIII. Почему карты всегда говорят правду?

Когда Жан Робер, освободившись от лошади, кое-как взобрался на чердак, то увидел группу, которая могла бы заслужить внимание его друга Петрюса. Эта группа состояла из старой гадалки, сидевшей на скамейке, Баболена, улегшегося в ее ногах, и Розы, стоявшей возле них и опирающейся на столб.

Броканта, очевидно, выжидала с беспокойством, что скажет Сальватор.

Что же касается обоих детей, то они улыбались Сальватору как другу, но каждый с различным выражением. У Баболена эта улыбка была веселая, у Розы – меланхолическая.

Но, к великому удивлению Броканты, Сальватор, казалось, не обратил никакого внимания на происходившее до него.

– Это вы, Броканта? – спросил он. – Как здоровье Розы?

– Хорошо, господин Сальватор, очень хорошо, – ответила девочка.

– Я не у тебя спрашиваю об этом, бедняжка, а у Броканты...

– Она кашляет немного, господин Сальватор, – сказала старуха.

– Доктор приходил?

– Да, господин Сальватор.

– Что же он сказал?

– А то, что прежде всего следовало бы оставить эту квартиру.

– Он хорошо сделал, что сказал вам об этом. Я уже давно вам говорил, Броканта.

Затем более строгим тоном и, сдвинув брови, он прибавил:

– А почему ребенок ходит босиком?

– Она не хочет надеть ни чулок, ни башмаков, гос подин Сальватор.

– Это правда, Роза? – спросил коротко молодой человек с легким упреком в голосе.

– Я не хочу надевать чулки, потому что они очень толстые, шерстяные, я не хочу надеть башмаки, потому что не имею других, кроме толстых, кожаных.

– Почему же Броканта не купит тебе нитяных чулок и тонких башмаков?

– Потому что это слишком дорого, господин Сальватор, а я бедна...

– Молчи и слушай хорошенько...

– Я слушаю, господин Сальватор.

– И ты исполнишь?

– Постараюсь.

– Ты исполнишь? – повторил молодой человек более повелительным тоном.

– Исполню.

– Если через неделю, – ты слышишь? – если через неделю ты не найдешь комнаты, просторной и светлой, для этого ребенка, а также отдельной псарни для своих собак, я отниму у тебя Розу.

Старуха обняла за талию девочку и крепко прижала к себе, как будто Сальватор хотел тотчас же выполнить свою угрозу.

– Вы отняли бы у меня мое дитя! – воскликнула она. – Мое дитя, которое семь лет при мне!

– Во-первых, это вовсе не твое дитя, – произнес Сальватор, – это дитя тобой украдено.

– Спасено, господин Сальватор, спасено!

– Украдено или спасено, об этом ты будешь разбираться с Жакалем.

Броканта молчала и еще крепче прижимала к себе Розу.

– Впрочем, – продолжал Сальватор, – я пришел не за тем. Я пришел ради этого бедного юноши, которого ты готовилась обобрать при моем входе сюда.

– Я не обирала его, господин Сальватор, я брала только то, что он мне добровольно отдавал.

– Ты его обманывала.

– Я не обманывала его: я говорила ему одну правду.

– Как могла ты знать правду?

– Через карты.

– Ты лжешь!

– Тем не менее карты...

– Средство для плутовства!

– Господин Сальватор, клянусь вам, все, что я сказала ему, – одна правда.

– Что же ты ему сказала?

– Что он любит молодую девушку шестнадцати или семнадцати лет.

– Кто тебе сказал об этом?

– Это было на картах.

– Кто тебе сказал об этом? – повторил повелительно Сальватор.

– Баболен узнал об этом в квартале.

– А! Так вот каким ремеслом ты занимаешься, – сказал Сальватор, обращаясь к Баболену.

– Извините, господин Сальватор, я не думал, что делаю дурно, сказав об этом матери: всем и так было известно в предместье Св. Якова, что г-н Жюстен был влюблен в мадемуазель Мину.

– Продолжай, Броканта. Что ты еще говорила ему?

– Я ему говорила, что молодая девушка любит его, что они имели намерение пожениться, но это не осуществилось из-за суммы денег, которую никто никак не ожидал.

– Это ты откуда знаешь?

– Один добрый священник, господин Сальватор... Один священник, седой, который уж, конечно, не лгал... Он говорил среди толпы, окружавшей его: «И если подумаешь, что эта сумма в двенадцать тысяч франков...» Я не знаю наверняка, было ли это десять или двенадцать тысяч...

– Это безразлично!

– «И как подумаешь, – говорил священник, – что эта сумма в двенадцать тысяч франков, которую я привез, была причиной всего несчастья».

– Хорошо, Броканта! А что еще ты потом сказала ему?

– Я еще сказала ему, что мадемуазель Мина была похищена молодым человеком, брюнетом.

– Откуда ты это знаешь?

– Господин Сальватор, пиковый валет вышел на картах, видите ли вы, а пиковый валет...

– Откуда ты знаешь, что молодая девушка была похищена? – повторил Сальватор, топнув ногой.

– Я видела сама.

– Как, ты ее видела?

– Видела так же, как вас теперь вижу, господин Сальватор.

– Где же ты видела ее?

– На площади Мобер. Этой ночью, господин Сальватор, этой ночью... Я только что прошла улицу Голанд и стала переходить Моберскую площадь, как вдруг промчалась мимо меня карета, да так скоро, что можно было подумать, будто лошади взбесились, но вот одно стекло опустилось; я слышу крик: «Ко мне! Помогите! Меня похищают!» – и хорошенькая головка блондинки, вроде херувимчика, высунулась из дверцы кареты. В тот же момент показалась другая голова... голова молодого брюнета, с усами... Он оттащил назад кричавшую и поднял каретное стекло; но та, которую похищали, имела время выбросить письмо.

- Ну, и где это письмо?
- Это то самое, которое я отослала г-ну Жюстену.
- В котором часу это было, Броканта?
- Это было около пяти часов утра, господин Сальватор.
- Хорошо! Это все?
- Да, это все.
- Зачем же ты не рассказала г-ну Жюстену дело просто, как оно произошло?
- Я поддалась искушению, господин Сальватор; я рассчитывала, что он будет рассказывать про то, что произошло с ним, а это доставило бы мне практику.
- Вот, Броканта, получай луидор за высказанную тобой правду, – перебил Сальватор, – но на этот луидор ты купишь ребенку три пары нитяных чулок и одну пару козловых башмаков.
- Я хочу красные башмаки, господин Сальватор, – произнесла Роза.
- Ты выберешь обувь того цвета, какого пожелаешь, дитя.
- Затем, обратясь опять к Броканте, он сказал:
- Ты слышала? Если ровно через неделю, ровно в этот час, я найду вас здесь еще, я увожу Розу... Не забудь, Броканта, – прибавил он вполголоса, – что ты своей головой отвечаешь мне за этого ребенка! Если ты уморишь ее от холода на своем чердаке, я тебя уморю холодом, голодом и рядом всевозможных лишений в подвале.
- Произнеся эту угрозу, он наклонился к девочке, которая подставила ему свой лоб для поцелуя.
- Жан Робер бросил прощальный взгляд на старуху и обоих детей и вышел следом за Сальватором.
- Что это за странная девочка? – спросил он Сальватора, выйдя с ним на улицу.
- А, бог ее знает! – ответил тот и рассказал Жану все, что знал о девочке, т. е. то, что знаем и мы.
- Рассказ этот был короток, и, когда они приблизились к Новому мосту, он был окончен.
- Здесь! – произнес Сальватор, облачаясь на решетку статуи Генриха IV.
- Зачем же мы остановились?
- О! Мой милый, вы слишком любопытны.
- Однако...
- Как драматическому поэту вам должно быть известно, что умение хранить тайну – это своего рода талант.
- Впрочем, они ждали недолго.
- По прошествии десяти минут карета, запряженная парой бодрых лошадей, свернула с набережной Ювели ров и остановилась против статуи Генриха IV.
- Мужчина, лет около сорока, открыл каретную дверцу и, выглянув изнутри кареты, произнес:
- Торопитесь, господа!
- Молодые люди вошли в карету.
- Ты знаешь куда, – произнес тот же мужчина, обратившись к кучеру.
- Лошади пустились вскачь и, повернув посередине Нового моста обратно, направились вдоль Школьной на бережной.

XXIV. Господин Жакаль

Расскажем нашим читателям то, что Сальватор счел лишним рассказывать Жану Роберу. Расставшись с Жюстеном и Жаном Робером на улице предместья Св. Якова, Сальватор, как мы сказали, направился в полицию.

Он достиг той глухой, безлюдной улицы, которая носит название Иерусалимской и представляет собой тесное, темное и грязное место, куда солнце заглядывает разве украдкой.

Сальватор смело и свободно вступил в ворота пре фектуры, как человек коротко знакомый с этим помещением.

Было семь часов утра. День начал только заниматься.

Сторож остановил его.

– Гей! Господин! – закричал он. – Вы куда идете?. Гей! Господин!

– А что? – сказал Сальватор, оборачиваясь.

– Ах! Извините, господин Сальватор, я было не узнал вас.

– Г-н Жакаль уже в своей конторе? – спросил Сальватор.

– Вернее сказать, что он еще там: он ночевал в конторе.

Сальватор пересек двор, вошел под своды, расположенные против ворот, затем по маленькой лесенке налево, поднялся на два этажа, прошел коридор и спросил секретаря о г-не Жакале.

– Он сильно занят, – ответил тот.

– Доложите ему, что это Сальватор, комиссионер с улицы Фер.

Секретарь исчез за дверью и почти тотчас же вернулся.

– Через две минуты г-н Жакаль к вашим услугам.

В самом деле минуту спустя дверь распахнулась, и, прежде чем кто-либо появился в ней, послышался голос:

– Ищите женщину! Ей-ей! Ищите женщину! – Затем уж появился человек, голос которого только что послышался.

Попытаемся нарисовать портрет Жакаля. Это был мужчина лет сорока, с чрезмерно длинным туловищем, худощавый, вытянутый, по выражению натуралистов, червеобразный, и при этом – с короткими, крепкими ногами.

Корпус его производил впечатление гибкого, а ноги – проворных.

Голова его, казалось, принадлежала одновременно самым различным плотоядным: волосы, или грива, как угодно, были желто-бурой масти; длинные, торчащие уши, заостренные и покрытые шерстью, походили на уши бобра; глаза отливали вечером желтым, а днем зеленым огнем и походили сразу на глаза рыси и волка; зрачок, вертикально удлинённый, подобно кошачьему зрачку, сокращался и расширялся, в зависимости от силы света или темноты; нос и подбородок были вытянуты у него, как у зайца.

В общем, это была голова лисицы, а туловище – хорька.

Он прищурил глаза и заметил в полумраке коридора того, о ком ему доложили.

– А! Это вы, господин Сальватор! – произнес он, быстро устремляясь навстречу. – Что доставляет удовольствие мне видеть вас так рано?

– Мне сказали, что вы были очень заняты, – ответил Сальватор, видимо, сиюсь преодолеть отвращение, которое внушал этот полицейский чиновник.

– Это совершенно верно, мой дорогой господин Сальватор, – но вы также знаете, что нет такого дела, которого я не бросил бы тотчас, чтобы иметь только удовольствие побеседовать с вами.

– Послушайте, пойдемте к вам в кабинет, – перебил Сальватор, не отвечая на любезную фразу г-на Жакаля.

– Это невозможно, – сказал Жакаль, – двадцать человек ждут меня.

– Много ли у вас дела с ними?

– Почти на двадцать минут времени, по минуте на человека. В девять часов мне нужно быть в Нижнем Медоне.

– Черт возьми. Это очень некстати, что я не могу поговорить с вами сколько мне нужно: я имел сообщить вам нечто важное.

– Постойте!.. Вот идея!..

– Говорите!

– Я еду в карете и еду один; поезжайте со мною: вы сообщите мне про ваше дело дорогой.

А теперь объясните мне в двух словах, в чем ваше дело?

– В одном похищении...

– Ищите женщину!

– Да мы ее и ищем.

– О! Нет, я говорю не про похищенную женщину.

– В таком случае, про какую же?

– Ту, которая приказала похитить другую.

– Вы полагаете, что в этом деле замешана женщина?

– Во всем и во всех делах всегда замешана женщина, господин Сальватор; это и составляет главное затруднение нашей службы. Вчера, к примеру, мне доложили, что один кровельщик убился, сорвавшись с крыши...

– И вы сказали: «Ищите женщину»!

– Да, это первое, что я сказал.

– Ну и что?

– Надо мною посмеялись, говорили, что я чужак! Стали все-таки искать женщину и ее нашли!

– Вот как! Как же это?

– Чужак обернулся, чтобы поглядеть на женщину, которая одевалась в мансарде противоположного дома, и он так увлекся ее созерцанием, что забыл, где он на ходится; нога у него поскользнулась, и он полетел вниз!

– Он погиб?

– Он очень расшибся, глупец! Так вы согласны, и поедете со мною в Нижний Медон?

– Да, но со мною друг.

– Карета четырехместная. Фарго, – обратился г-н Жакаль к служителю, – велите запрягать.

– Но дело в том, что я должен предварительно зайти на Кишечную улицу, а затем я вернусь.

– Я даю вам полчаса времени.

– Где же мы встретимся с вами?

– Место свидания у статуи Генриха IV. Я велю остановить карету, вы войдете в нее и поедете!

После этого Жакаль вошел в свою контору, а Сальватор пошел отыскивать Жана Робера.

Все шло по установленной программе: оба молодых человека уселись в карету Жакаля, и все трое покатило по направлению к Нижнему Медону.

Г-н Жакаль был старым комиссаром, которого его блестящие способности возвели до высшего положения – до места начальника охранительной полиции.

Г-н Жакаль знал всех воров, всех мошенников, всех цыган Парижа; освобожденные каторжники, воры патентованные, воры-новички, воры заслуженные, воры, отказавшиеся от своего ремесла, – все они копошились под его всевидящим взором; как бы ни была темна ночь, невозможно было укрыться от его проницательного глаза. Он знал вертепы, картежные дома,

волчьих при тоны и западни, как Филидор квадраты своей шахматной доски. При одном взгляде на оторванный ставень, на разбитое оконное стекло, на рану, нанесенную ножом, он говорил: «О! Я знаю это! Это прием такого-то».

И ошибался он редко.

Жакаль, казалось, не знал никакого природного влечения или потребности. Если ему некогда было позавтракать, он оставался без завтрака; некогда ему было пообедать – он не обедал; некогда было поужинать – он не ужинал; некогда было поспать – он и не спал!

Жакаль с одинаковым удовольствием и равной свободой менял свой костюм и облик: то торговца рынка, то генерала Империи, швейцара богатого дома, привратника, бакалейщика, торговца аптекарскими товарами, гаера, пэра Франции, вольтижера из цирка – он бывал всем и заставил бы покраснеть самого ловкого и даровитого актера.

Протей был в сравнении с ним не более как кривляка из Тиволи или с бульвара Тампль. Жакаль не имел ни отца, ни матери, ни жены, ни брата, ни сестры, ни сына, ни дочери: он был одинок во всем мире и, казалось, был лишен семьи внимательной к нему судьбой, которая, избавив его от свидетелей в его таинственной жизни, дала ему возможность быть вполне свободным на его поприще.

В библиотеке, помещавшейся на четырех полках, у него было четыре различных издания Вольтера. В эту эпоху, когда все, а в полиции в особенности, духовные и светские иезуитствовали, он один говорил совершенно не стесняясь, при всяком удобном случае цитировал из «Философского Словаря» и знал «La Pucelle» наизусть. Упомянутые четыре экземпляра произведений автора «Кандида» были переплетены в шагренё, с серебряным обрезом, – этот печальный памятник погребенных убеждений их хозяина.

Жакаль не признавал добра; зло, по его мнению, господствовало над всем остальным. Противостоять злу представлялось ему единственной целью в жизни; он не признавал мира на иных началах.

Он был своего рода архангел Михаил низших слоев. Последний суд уже настал для него, и он пользовался правами, которые ему доверило общество, подобно ангелу-истребителю, пользующемуся мечом своим.

Люди казались ему не более как коллекцией марионеток и паяцев, упражняющихся в различного рода профессиях. Нитями этих марионеток и паяцев, по его мнению, всегда управляли женщины. Это была его навязчивая идея, которая всегда почти доводила его до раскрытия преступления, виновника коего он хотел найти.

Каждый раз как только ему доносили о заговоре, об убийстве, о краже, о похищении, о взломе, о святотатстве, о самоубийстве, он каждый раз давал один ответ: «Ищите женщину!»

Женщину искали и всегда ее находили, ни о чем другом не оставалось заботиться: остальное отыскивалось само по себе.

Жакаль видел в женщине основную причину преступления даже в том случае, где другой находил лишь одну неосторожность.

Таков был, – а мы далеко еще не исчерпали изображения его, – таков был Жакаль, с которым Сальватор и Жан Робер ехали вдоль Тюильрийской набережной.

Мы забыли передать еще одну характерную особенность физиономии Жакаля: он носил зеленые очки; не для того, конечно, чтобы лучше видеть, но чтобы его было меньше видно.

XXV. Ищите женщину!

Жакаль, приняв обоих молодых людей в свою карету, начал с того, что приподнял свои очки и устремил на Жакаля Робера один из тех испытующих взглядов, которые ему открывали человека и физически, и нравственно.

Через секунду очки его опустились, потому ли что он узнал в Жане Робере поэта, который, как мы сказали, прошел уже первый круг популярности, или потому, что честные черты лица молодого человека были достаточны для того, чтобы успокоить его. Ведь ему не придется иметь дела с этим человеком.

– А! – сказал он, устроившись в мягком углу кареты, том самом углу, который он уступил Сальватору и от которого Сальватор отказался наотрез. – Итак, дело идет о похищении?

Жакаль достал табакерку – прелестную вещь, которая более походила на изящную, деликатную бонбоньерку с лепешечками для Помпадур или Дюбари – и с жадностью потянул в себя добрую щепотку табаку.

– Послушаем, расскажите-ка мне об этом.

У каждого человека есть своя слабая сторона, своя ахиллесова пята, не омытая водами Стикса. Жакаль мог обойтись без еды, без питья, без сна, но не мог обойтись без табака. Табак и табакерка были для него вещами необходимыми.

Можно было бы сказать, что в этой табакерке он почерпнул всю бесчисленную серию гениальных идей, бесконечным и ежеминутным появлением которых он удивлял своих сослуживцев.

Итак, он наслаждался своей щепоткой табаку, когда произнес: «Послушаем, расскажите-ка мне об этом».

Сальватор передал ему дело с подробностями, которые узнал от Броканты.

– И до сих пор не искали еще женщины? – спросил он.

– Не имели времени: мы узнали о происшедшем лишь в семь часов утра.

– Черт возьми! – произнес он. – Они должны были перевернуть все в темноте и вытоптать весь сад.

– Кто?

– Да эти дуры! – Жакаль разумел содержательницу пансиона, ее помощниц и учениц.

– Нет, – сказал Сальватор, – с этой стороны опасности нет.

– Как так?

– Жюстен поехал на лошади этого господина, – Сальватор указал на Жана Робера, – и станет стражем у ворот.

– Ну, ладно. Теперь, если только откроют женщину, все пойдет хорошо.

– Но, – осмелился было возразить Сальватор, – я не знаю возле нее ни одной женщины, которой следовало бы опасаться.

– Следует всегда остерегаться женщины.

– Не имеете ли вы какого-либо предложения, господин Жакаль?

– Вы говорите, что молодой человек похитил вашу Мину?

– Мою Мину? – переспросил Сальватор улыбаясь.

– Ну, Мину школьного учителя, Мину как объект поиска, наконец!

– Да, Броканта, которая была очевидцем похищения около четырех часов утра, как я рассказал вам, видела молодого человека; она даже утверждает, что он был брюнет.

– Ночью все кошки черны!

И Жакаль, произнеся эту поговорку, покачал головой.

– Вы сомневаетесь в чем-нибудь? – спросил Сальватор.

– А вот в чем... Мне кажется неестественным, чтобы молодой человек похитил девушку: это вовсе не в наших правилах, более того, разве возможно, чтобы молодой человек, принадлежащий к знатной фамилии при дворе, не страшился бы в девятнадцатом веке отважиться подражать Лозану и Ришелье...

– Однако это так.

– В таком случае опять-таки будем искать женщину! Женщина неизбежно должна играть какую-либо роль в этой таинственной драме. Вы говорите, что не видите ни одной женщины возле нее, а я только и вижу, что женщин: содержательница пансиона, помощницы ее, подруги, горничные... А! Вы еще не знаете, что такое пансион. Как вы наивны!

Жакаль вынул вторую щепотку табаку.

– Все эти пансионы, видите ли, господин Сальватор, – продолжал он, – это те же пылающие костры, в которых живут и бьются молодые пятнадцатилетние девушки, подобно тем саламандрам, о которых повествуют древние натуралисты. Что касается меня, я знаю хорошо только то, что если бы я имел дочь-невесту, я скорее запер бы ее у себя в подвале, чем поместил бы ее в пансион... Вы не имеете понятия о тех жалобах, которые получают в «Конторе нравов» на пансионы. Я не хочу сказать, что начальницы пансионов в чем-либо виноваты, нет; но то, что девочки влюбляются, это старая басня Евы. Начальницы, помощницы их, сторожихи, напротив, постоянно бодрствуют, как собаки вокруг фермы или телохранители вокруг царя. Но как вы воспрепятствуете волку войти в овчарню, когда овца сама открывает дверь волку?

– Это не имеет места в данном случае, Мина обожала Жюстена.

– Ну, так это дело подруги. Вот почему я сказал и повторяю: «Будем искать женщину!»

– Я начинаю склоняться к вашему убеждению, господин Жакаль, – начал Сальватор, наморщив лоб, как бы силясь сосредоточиться на каком-то неясном и подозрительном пункте.

– Я, конечно, – продолжал полицейский, – не сомневаюсь в целомудренности вашей Мины... Говоря «ваша Мина», я хочу сказать: Мина вашего школьного учителя... Я верю, что она, поступая в пансион, не внесла с собою никакого преступного начала, могущего испортить ее окружение. Тщательно воспитанная, она могла иметь в себе лишь сокровища доброты и искренности, которые она восприняла под опекой приютившей ее семьи. Но в пансионе на чистый благоухающий цветок столько дурных растений распространяют свои вредные испарения, что часто и без ведома цветка заражают его, делают беззаботным и легкомысленным. Никогда не надо ничего забывать, господин Сальватор, запомните это хорошенько. Ребенок лет десяти, однажды видевший невинные феерии в комическом театре Амбигю, если он мальчик, попросит в пятнадцать лет копьё всадника для того, чтобы заколоть гигантов, стерегущих или преследующих принцессу его сердца. Если же это девочка, то она вообразит себя непременно этой принцессой, преследуемой своими родными, и употребит все силы, которые ей откроют чародей или фея, для того только, чтобы воссоединиться со своим обожателем, с которым их развели. Наши театры, наши музеи, наши стены, наши магазины, наши прогулки, – все это способствует возбуждению в сердце ребенка тысячи курьезов, которые, за неимением отца с матерью, объяснит ему всякий прохожий, всякая нянька. Все способно возбудить и поддерживать в ребенке эту страсть сознания, которая составляет зло детства: и мать, которая затрудняется объяснить дочке, зачем при входе в церковь красивый молодой человек предлагал святой воды молодой девушке; зачем в летний день парочка влюбленных целовалась в поле; зачем женятся, зачем ходить к обедне, когда другие не ходят; наконец, мать, которая не может открыть своей дочери ни одной из тайн, которые та видит мельком, – отсылает, испуганная ее любознательностью, в пансион, где она научается от старших сестер своим секретам, разрушающим и здоровье, и добродетель, и в свою очередь, передает позже своим младшим сестрам. Вот, мой дорогой Сальватор, вот каким образом молодая девушка, происходящая из самой честной семьи, вступает в пансион, неся в себе ядовитое семя, которое позднее заражает

все поле!.. Так и доходит до того, что неразумная молодежь, не имея возможности удовлетворить своей, в большинстве ложной, фантазии, решается Бог знает на что!..

Молодой человек влюбляется в девушку, которая его и не успела полюбить еще; он не выжидает того, чтобы она его полюбила, и убивает себя! Молодая девушка любит молодого человека, который разлюбил ее, и на которого она рассчитывала, что он в качестве ее мужа поможет скрыть ей проступок ее любви к нему, тоже прибегает к самоубийству. Двое молодых людей любят друг друга, но родители отказываются повенчать их, и опять готово двойное самоубийство... Вот и сегодня я еду констатировать в Нижнем Медоне самоубийство мадемуазель Кармелиты и г-на Коломбо. Ну и что же...

Молодые люди вздрогнули.

– Извините, – сказали они одновременно, перебивая Жакаля.

– Что такое?

– Мадемуазель Кармелита, не ученица ли из Сен-Дени? – спросил Сальватор.

– Точно.

– А Коломбо, не бретонский ли дворянин? – спросил Жан Робер.

– Совершенно верно.

– Теперь, – пробормотал Сальватор, – я понимаю то письмо, что сегодня получила Фражола.

– О! Бедный юноша, – произнес Жан Робер, – я слышал его имя от Людовика.

– Но молодая девушка была чистейший ангел! – сказал Сальватор.

– А молодой человек – просто святой! – прибавил Жан Робер.

– Без сомнения! – саркастически произнес старый вольтерьянец. – Вот потому-то они и попали на небо: они считали себя на земле не на своем месте, бедные дети!

– Причины этих смертей составляют секрет или вы можете нам сказать их? – спросил Жан.

– Рассказать вам катастрофу во всей ее подробности? Эх, бог мой, да нам стоит только переменить имена, чтобы воспользоваться этой катастрофой для поэмы или романа: материала хватит, я за это отвечаю.

И пока они катили по набережной до Севрского моста, Жакаль передал молодым людям, внимательно его слушавшим, рассказ, который, хоть и кажется с первого взгляда не идущим к тому, о чем мы повествуем, но кончится тем, что рано или поздно между ними обнаружится должная связь.

А потому пусть наши читатели вооружаются терпением, мы находимся лишь в прологе книги, которую пишем, и вынуждены потому, прежде всего, вывести на сцену всех наших действующих лиц.

Часть II

I. Ближний сосед лучше дальней родни



Двенадцатый округ представлял в 1827 году, как и ныне, самую бедную часть французской столицы, что явствует даже и из ежегодно публикуемых официальных статистических сведений.

Если к этому прибавить, что в этом округе живут по большей части только тряпичники, угольщики, мелкие разносчики, метельщики, поденщики всех сортов и извозчики, то окажется, что и в имущественном отношении он не представлял ничего утешительного.

Но так как большая часть событий, о которых нам предстоит рассказать, происходила именно в этом районе, то нам необходимо несколько ознакомиться и с тем внешним видом, который он имел в пору нашего рассказа.

Самую живописную часть его составлял квартал Святого Якова, между улицами Валь-де-Грас и Ла-Бурб, называемой нынче улицей Порт-Рояль.

И действительно, если приходилось тогда идти по улице Св. Якова от улицы Валь-де-Грас, то все старые, безобразные и скверно построенные дома оказывались окруженными прекрасными садами, какие ныне встречаются только вокруг нескольких богатейших отелей Парижа.

Дом под № 350 на улице Сен-Жак представлял собой мир, наверно, совершенно незнакомый большинству порядочных людей общества. Обыкновенно каждый из нас, отправляясь в такие места, ожидает, что его охватит нестерпимое зловоние, неизбежно присущее всем притонам нищеты; но здесь, напротив, поражал прелестный аромат роз и жасмина в цвету, а из окон виднелся клочок истинного рая земного.

Фасад дома, в котором обитали герои ужасной истории, рассказанной Жакалем, был того темного цвета, в который время и непогода окрашивают все стены старого Парижа.

Вход в этот дом составляла узенькая дверь, ведущая в коридор, в котором было совершенно темно даже в ясный летний день.

Тому, кто входил сюда в первый раз, невольно приходило в голову, что он попал или в мастерскую тряпичников, или в притон фальшивомонетчиков; но стоило только спуститься с последней ступеньки, как вы оказывались не иначе как в эдеме.

Выход из коридора вел во двор, за которым виднелся сад. Посреди него стоял совершенно белый домик с зелеными ставнями. Фундамент его опирался на ярко-зеленый дерн, а по стенам вились всевозможные ползучие растения.

Это был трехэтажный дом, и все его окна выходили в сад. Все три этажа разделялись на шесть отдельных и совершенно одинаковых квартир, из трех комнат и кухни.

Четыре из них в нижнем и среднем этажах были заняты семьями ремесленников. Все это были люди тихие, воздержанные и домоседы. По воскресеньям они не ходили с товарищами по кабакам, а занимались возделыванием участков сада, принадлежавших им.

В верхнем этаже по той же лестнице жили друг против друга два главных действующих лица этого рассказа. Тот, который жил в маленькой квартире налево, был молодым человеком лет двадцати двух, с красивым открытым лицом, светлыми глазами и белокурыми волосами, падавшими на его сильные плечи. Ростом он был скорее мал, чем велик; по ширине плеч его в нем угадывалась необыкновенная физическая сила. Родился он в Кэмпере, но стоило только посмотреть на него самого, не заглядывая в его метрическое свидетельство, чтобы понять, что он бретонец, так энергично и открыто было выражение этого галльского лица.

Отец его, старый разорившийся дворянин, живший в башне, составлявшей единственную уцелевшую часть разрушенного во время Вандейской войны замка, отпустил сына в Париж для окончания юридического образования. Выйдя из колледжа в 1823 году, молодой Коломбо де Пеноель тотчас же поселился в этой маленькой квартире на улице Св. Якова и жил в ней уже целых три года.

Отец обеспечивал ему скромное содержание в тысячу двести франков в год, деля с ним пополам все, что получал от уцелевшей доли своих наследственных владений.

Квартира обходилась Коломбо всего в двести франков в год, а остававшаяся тысяча составляла для скромного воздержанного молодого человека целое богатство.

Стоял январь 1823 года. Коломбо поступил на третий курс.

На церкви Св. Жака пробило десять часов вечера.

Молодой человек сидел у камина, сосредоточенно изучая кодекс Юстиниана, как вдруг где-то недалеко раздались душераздирающие крики и стоны.

Он вскочил, отпер дверь на лестницу и увидел у противоположной двери молодую девушку. Волосы у нее были растрепаны, лицо мертвенно бледно. Она рыдала, ломая руки, и звала на помощь.

В квартире, бывшей напротив той, которую занимал Коломбо, жили мать с дочерью. Мать была вдовой ка питана, убитого при Шам-Обере во время кампании 1814 года, и существовала на пенсию в тысячу двести франков да еще с помощью кое-какой работы, которую ей доставляли знакомые белошвейки квартала.

Сначала она поселилась одна, но месяцев шесть спустя, поднимаясь домой по лестнице, Коломбо встретил какую-то высокую и чрезвычайно красивую девушку, которой до сих пор никогда еще не видал.

По натуре он был не особенно общителен, а потому только после двух или трех таких встреч решился распросить одного из соседей и узнал, что девушку зовут Кармелитой, что она дочь его соседки по лестничной площадке и, как дочь офицера и кавалера Почетного легиона, получила образование в институте Сен-Дени, а теперь после окончания курса поселилась у матери.

Первая встреча молодого человека с Кармелитой случилась во время каникул в сентябре 1822 года. Недели через две Коломбо уехал на два месяца к отцу и, возвратясь оттуда в январе 1823, встречался с нею только изредка. При встречах они обменивались вежливыми поклонами, но никогда не разговаривали.

Девушка была для этого слишком застенчива, Коломбо – слишком почтителен.

Но однажды Коломбо встал несколько раньше обыкновенного и, когда возвращался домой со своим еже дневным завтраком, то встретил на лестнице Кармелиту, которая в этот день наоборот несколько запоздала.

Коломбо, по обыкновению, поклонился ей не по-студенчески, а как истинный джентльмен. Но она вместо того, чтобы с молчаливым видом пройти мимо, вспыхнула и сказала ему:

– У меня есть к вам просьба. Моя мать и я очень любим музыку, и каждый вечер с удовольствием слушаем, как вы играете и поете. Но вот уже несколько дней, как мама заболела, и хотя она никогда не жаловалась, но побывавший вчера у нас доктор, услышав музыку, сказал, что она слишком утомляет больную.

– Извините меня! – вскричал молодой человек, в свою очередь краснея до корней волос. – Но я совершенно не знал, что ваша матушка заболела! Верьте, что я никогда не прошу себе, что потревожил ее своей забавой.

– Напротив, это я должна просить у вас извинения, что из-за нас вы должны лишаться удовольствия, и очень благодарна вам за то, что вы на это согласны.

Они раскланялись, а Коломбо, взбежав к себе, запер свой инструмент, чтобы не раскрывать его до тех пор, пока мадам Жерье не выздоровеет окончательно.

С этих пор он встречал Кармелиту гораздо чаще. Болезнь ее матери усилилась, и она беспрестанно бегала от доктора в аптеку. Даже ночью Коломбо несколько раз слышал, как она спускалась по лестнице. Ему очень хотелось предложить ей свои услуги, и он сделал бы это от чистого сердца и без всякой задней мысли, но Коломбо был чрезвычайно застенчив, он решительно не знал, как начать, как высказать свое предложение, и бросился к ней на помощь только тогда, когда девушка сама стала звать его громкими криками.

Но, к сожалению, было слишком поздно. Крики девушки были вызваны не необходимостью в чем-нибудь содействии, а ужасом.

У мадам Жерье был аневризм в последней степени развития, однако доктор не предупредил об этом Кармелиту, не желая огорчать ее заранее. Бедную больную терзало удушье.

Чтобы несколько освежиться, она попросила воды. Дочь хотела приготовить ей питье и пошла в другую комнату, но вдруг услышала не то зов, не то стон. Бросившись назад к матери, она увидела, что та лежит, закинув назад голову. Она подсунула ей руку под спину и приподняла ее. Глаза больной как-то страшно уставились на дочь. У Кармелиты от ужаса удвоились силы. Продолжая поддерживать туловище матери, она поднесла ей к губам стакан. Но в тот момент, когда стекло прикоснулось к ее губам, мадам Жерье тяжело, мучительно вздохнула, тело ее мгно венно потяжелело, несмотря на усилия Кармелиты, грузно осело обратно на подушки.

Девушка еще раз собралась с силами и снова приподняла ее, и опять поднесла ей стакан.
– Пей же, пей, мамочка! – лепетала она.

Но губы больной были крепко сжаты, и она не отвечала. Кармелита несколько наклонила стакан. Вода полилась по обеим сторонам губ, но в рот не проникала.

Глаза больной были неестественно широко раскрыты и как бы не могли оторваться от дочери.

На лбу девушки выступил холодный пот.

Однако в этих широко раскрытых глазах ей виделся как бы луч надежды.

– Пей же, пей, мама! – твердила она.

Больная молчала по-прежнему.

Вдруг Кармелите показалось, что шея, которую она держала, охватив рукою, стала быстро холодеть. Она с ужасом опустила мать обратно на подушки, поставила стакан на стол, бросилась на ее тело, обвивая его руками и глядя на него почти такими же, как и у покойницы, глазами, стала, как безумная, целовать ее лицо и руки. В первый раз в жизни сердце несчастной девушки сжалось болезненным предчувствием того, что она может лишиться единственного существа на всем свете, которое любило ее. Но ведь всего за минуту перед тем мать говорила с нею, и она никак не могла поверить, чтобы ужасный переход от жизни к смерти совершился так просто, без малейшего потрясения, судорог, стонов, криков и шума. Она поцеловала мать в лоб, но ее лихорадочно горевшие губы прикоснулись к мертвенно холодной коже.

Она отпрянула испуганная, но все еще не убежденная в своей догадке.

Голова умершей тяжело скатилась на подушки, так что тусклые глаза продолжали смотреть на дочь с последним проблеском материнской нежности. Но глаза эти вместо того, чтобы успокоить девушку, еще больше пугали ее.

Постепенно ужас ее возрос до крайних пределов. Она пыталась смотреть то направо, то налево; но взгляд все-таки невольно возвращался к этим страшным глазам, и она вдруг испуганно закричала:

– Мама! Мама! Да скажи же хоть слово! Ответь же мне! А не то я подумаю, что ты умерла!

Она снова нагнулась к матери, но, видя неподвижность трупa, и сама остановилась, как окаменелая. Она продолжала звать ее криком, но дотронуться до нее уже не осмеливалась. Наконец, убедившись, что ответа не будет и не смея дольше оставаться в комнате под взглядом страшных мертвых глаз, боясь всего, но еще ничему не веря, она бросилась к выходной двери, отперла ее и громко вскрикнула:

– Помогите!

На этот крик из своей квартиры выбежал Коломбо.

– О, послушайте! – вскричала она. – Мама смотрит на меня, но не отвечает.

– У нее, вероятно, обморок! – успокоил ее Коломбо, которому тоже не пришла в голову мысль о смерти.

Он вбежал в спальню.

Увидев уже коченеющий труп, он с ужасом остановился. Рука, которую он схватил, чтобы пощупать пульс, была холодна, как ледяная.

Ему вспомнилось, что когда ему было пятнадцать лет, он видел, как лежала на своей парадной кровати его мать, и что тогда он заметил у нее те же оттенки на лице, которые видел теперь.

– Ну?... Ну, что же? – спрашивала Кармелита, рыдая.

Коломбо успел овладеть собой и продолжал делать вид, будто думает, что у больной обморок, чтобы дать девушке время подготовиться к ужасной истине.

– Да, вашей матушке очень нехорошо! – сказал он.

– Но отчего же она не говорит ничего?

– Подойдите к ней, – предложил Коломбо.

– Не могу... Не смею! Зачем она смотрит на меня так страшно? Чего она хочет?

– Она хочет, чтобы вы закрыли ей глаза и чтобы мы с вами вместе помолились за упокой ее души.

– Но ведь она не умерла, не правда ли? – вскричала девушка.

– Встаньте на колени, мадемуазель Кармелита, – сказал Коломбо, ободряя ее собственным примером.

– Что вы хотите этим сказать?

– То, что Бог, дарующий нам жизнь, всегда вправе и взять ее у нас.

– А! Понимаю! – вскричала несчастная, как бы пораженная громом. – Мама умерла!

Она отшатнулась назад, точно и сама умирала.

Коломбо подхватил ее и отнес на кровать, стоявшую в алькове соседней комнаты.

На крик Кармелиты прибежали с нижнего этажа жена одного из ремесленников и бывшая у нее в гостях ее подруга.

Войдя в открытую дверь квартиры мадам Жерье, они застали Коломбо в хлопотах возле потерявшей сознание девушки. Но так как все старания его оставались безуспешными, одна из них взяла графин, стоявший на туалетном столике, и облила лицо несчастной сироты водою.

Кармелита задрожала всем телом и очнулась. Женщины хотели было раздеть ее и уложить в постель.

Но она, хотя и с усилием, поднялась на ноги и, обращаясь к Коломбо, проговорила:

– Вы сказали, что мама просит, чтобы я закрыла ей глаза... Отведите меня к ней... ответьте... прошу вас!.. А не то ведь она станет вечно смотреть на меня так страшно! – прибавила она с ужасом.

– Пойдемте, – ответил Коломбо, которому показалось, что она начинает бредить.

Опираясь на его руку, она вошла в комнату матери и тихо приблизилась к кровати. Глаза умершей уже потускнели, но все еще смотрели тем же упорным, неподвижным взором. Кармелита осторожно и почтительно опустила ей веки.

Но, очевидно, это стоило ей страшного усилия над собою, потому что она тотчас же снова потеряла сознание и упала на труп матери.

II. Фра Доминико Сарранти

Коломбо опять взял Кармелиту на руки и, как ребенка, отнес ее в соседнюю комнату, где были две женщины.

Теперь можно было раздеть и уложить ее.

Коломбо ушел к себе, но попросил жену ремесленника зайти к нему, как только она уложит Кармелиту.

Минут десять спустя она была уже у него в квартире.

– Ну что, как? – спросил он.

– Да хорошего мало, – ответила женщина. – Очнуться-то она очнулась, а только все держится за голову да болтает какие-то несурразности.

– Есть у ней родственники?

– Мы их никого не знаем.

– Ну, может быть, у них есть друзья по соседству.

– Друзей-то уж наверно нет! Они ведь бедные были да такие тихие, что и знакомых-то у них не было.

– Что ж тогда делать-то? Ведь нельзя оставить ее в одном месте с покойницей. Надо ее перенести куда-нибудь.

– Я взяла бы ее к себе, да у нас всего одна кровать... Ну, да все равно, – продолжала добрая женщина, как бы говоря уже сама с собою. – Пошлю мужа в чулан, а сама посижу и на стуле.

Такая готовность помочь даже и совершенно незнакомому человеку особенно свойственна женщинам-простолюдинкам. Они готовы уступить и свою постель, и свой стол с такой простотой и любезностью, с какой приказчик в лавке подает вам стакан воды. Простая женщина бросается на помощь больному, огорченному или умирающему с таким целостным великодушием, которое в глазах как моралиста, так и философа составляет одну из прекраснейших черт ее характера.

– Нет, – сказал Коломбо, – сделаем лучше вот как: перетащим кровать девушки в мою квартиру, а мою – к ним. Вы сходите за священником для умершей, а я пойду за доктором для больной.

Женщину, видимо, что-то смутило.

– Что это вы? – спросил Коломбо.

– Уж лучше за доктором пойду я, а за священником – вы, – предложила она.

– Это почему же?

– Да потому, что покойница-то скончалась неожиданно.

– Да, ваша правда, – никто этого не ждал.

– Ну, вот видите, значит, умерла она...

– Я вас не понимаю...

– Значит, умерла, не исповедавшись.

– Да ведь вы же сами говорите, что она и добрая, и честная, чуть не святая была.

– Это все равно, да только патер... Не станет он наших речей слушать – не пойдет!

– Как?! Священник не пойдет читать молитвы над умершей?

– Известное дело – не пойдет! За то, что она умерла без причастия.

– Хорошо! Так ступайте за доктором, а я пойду за священником.

– Доктор-то есть недалеко – напротив.

– А не знаете ли вы человека, который отнес бы от меня письмо на улицу По-де-Фер.

– Да вы напишите письмо, а я уж найду, с кем отправить.

Коломбо сел к столу и написал:

«Дорогой друг, поспешите ко мне. В Вас нуждаются два существа – одно живое, другое мертвое».

Свернув письмо, он надписал и адрес:

*«Брату Доминику Сарранти.
Улица По-де-Фер, № 11».*

Подавая письмо женщине, он сказал:

– Отошлите это, и священник явится.

Она спешно пошла вниз.

Оставшись один, Коломбо несколько прибрал комнату и перетащил свою кровать к соседям, а кровать Кармелиты – к себе.

Женщина, бывшая в гостях у жены ремесленника, обещала посидеть с больной до возвращения своей подруги, а если окажется нужным, то и до утра.

Бред усиливался с каждой минутой.

Женщина уселась возле кровати, а Коломбо сбегал в лавку, купил восковую свечку и поставил ее в головах умершей.

Пока он ходил, вернулась соседка с нижнего этажа с доктором и, предоставив больную ему и своей подруге, сама отдала последний долг умершей – скрестила ей на груди руки и положила на грудь распятие.

Коломбо зажег свечку, стал на колени и начал читать заупокойные молитвы.

Обеим женщинам необходимо было оставаться при больной. Доктор объявил, что у нее воспаление мозга, сделал все нужные предписания и прибавил, чтобы их исполняли как можно строже, потому что воспаление может осложниться.

Что касается матери, то она скончалась от разрыва сердца.

Многие из современных умников расхохотались бы, если бы увидели, как молодой человек, стоя на коленях, читает заупокойные молитвы по молитвеннику, украшенному его гербами, над телом совершенно незнакомой ему женщины.

Но Коломбо принадлежал к числу старинных бретонцев, всегда высоко державших знамя религии. Предки его продали свои владения, чтобы последовать за Готье Бессеребряным в Иерусалим, приводя при этом одну причину: «Так хочет Бог».

Юноша молился горячо и искренно, силясь отогнать от себя все земные помыслы, но вдруг услышал позади себя скрип отворявшейся двери.

Он оглянулся.

То был брат Доминик в своем живописном белом с черным костюме.

За исключением товарищей по колледжу, которых принято называть друзьями, этот молодой монах был единственным другом Коломбо в Париже.

Однажды, проходя мимо церкви Св. Жака, молодой студент заметил, что туда стеклось чуть ли не все население предместья. Когда он спросил, в чем дело, ему ответили, что какой-то монах в белом одеянии говорит проповедь.

Он вошел.

На кафедре действительно стоял молодой, но изможденный страданием или постом монах.

Говорил он на тему покорности.

Он делил ее на две весьма различные между собой части.

В случаях несчастий, посланных самим Богом, как например, смерть, стихийные бедствия, неизлечимые болезни, – он советовал:

«Покоряйтесь, братья! Преклоняйтесь под рукою Карающего и молитесь Ему с кротостью. Покорность – одна из величайших добродетелей».

Но в несчастьях, происходящих от злобы или заблуждений человеческих, он этой покорности не допускал.

– Боритесь с ними, братья! говорил он. – Действуйте против них всеми силами, данными вам Господом. Укрепляйтесь верой в Бога, ваше право на вечную жизнь и в самих себе. Начиная борьбу и бейтесь до послед ней капли крови. Покорность злобе есть трусость!..

Коломбо дождался конца проповеди и при выходе из церкви пошел пожать руку монаха не как священной особе, но как простому человеку, который умел ценить три добродетели, составлявшие первооснову его собственного характера: простоту, кротость и силу.

Чтобы понять личность этого молодого монаха, необходимо взглянуть и на его прошедшее.

Звали его Домиником Сарранти, и во всем существе его было много общего с мрачным святым, которого случай сделал его покровителем.

Родился он в маленьком городке Вик Дено, лежащем в шести лье от Фуа и в нескольких шагах от испанской границы.

Отец его был корсиканец, мать – каталонка, и он был похож на обоих сразу. В нем были и злопамятство корсиканца, и поразительная выносливость каталонки. Увидев его с величавыми жестами, мрачной речью на кафедре, многие принимали его за испанского монаха, попавшего во Францию по делам миссии.

Отец его родился в Аяччо, в один год с Наполеоном I, связал свою участь с судьбою своего гениального земляка и вместе с ним переносил и все ее превратности – был с ним и на Эльбе, и на острове Св. Елены.

В 1816 году он возвратился во Францию. Когда его спрашивали, почему он покинул прославленного пленника, он отвечал, что не выносит слишком жаркого климата.

Люди, хорошо его знавшие, не верили ему: они знали, что Сарранти принадлежит к числу тех тайных эмиссаров, которых император рассылает по всей Франции, чтобы подготовить свое возвращение со Святой Елены, как подготовлено было возвращение с Эльбы, или, по крайней мере, если это окажется невозможным, то хотя бы отстаивать интересы его сына.

Он поступил воспитателем к двум детям, в дом очень богатого человека по фамилии Жерар. Дети эти были Жерару не родными, а приходились племянниками.

Но в 1820 году, как раз в пору заговора Нанте и Берара, Гаэтано Сарранти вдруг исчез. Говорили, что он направился в Индию, к одному бывшему наполеоновскому генералу, поступившему на службу к принцу Лахорскому.

Мы уже упоминали об этом бегстве Гаэтано Сарранти, говоря об исчезновении колесного мастера с улицы Св. Якова, вследствие которого маленькая Мина должна была остаться в семье Жюстена.

По этому же поводу упоминали мы и о сыне Сарранти, получившем образование в семинарии Сен-Сюнлис.

Этот сын и стал впоследствии братом Домиником, которого за его испанский тип обыкновенно называли Фра Доминико.

Молодой человек уже давно посвятил себя духовному званию. Мать его умерла, отец уехал на остров Св. Елены, и он был вправе располагать собою по своему усмотрению.

Возвратясь в 1816 году во Францию, Гаэтано с горестью и удивлением узнал о таком, по его мнению, странном призвании сына и употребил все усилия, чтобы отвратить его от него. Он привез с собою сумму, вполне достаточную для того, чтобы создать молодому человеку независимость в обществе, но сын не хотел об этом и слышать.

В 1820 году, когда Гаэтано Сарранти исчез снова, сына его, бывшего еще учащимся пансиона Сен-Сюнлис, несколько раз вызывали в полицию.

Однажды товарищи заметили, что он возвратился гораздо мрачнее и бледнее обыкновенного. На отца его падало обвинение гораздо более позорное, чем участие в заговоре и пося-

гательство на безопасность государства. Его обвиняли не только в действиях, нарушающих общественное спокойствие и в похищении у Жерара суммы в триста тысяч франков, но еще в исчезновении и, как впоследствии говорили, даже в убийстве двоих его племянников.

Правда, следствие по этому делу было скоро прекращено, но, тем не менее, над беглецом продолжало тяготеть то же подозрение.

Все это делало Доминика мрачнее и мрачнее как человека и все строже и строже как священника.

Когда настала пора его пострижения, он объявил, что хочет вступить в один из самых строгих орденов и принял монашество в ордене Св. Доминика, носившем во Франции официальное название ордена Якобинцев, так как первый монастырь этого ордена был построен в Париже, на улице Св. Якова.

После пострижения, на второй день своего совершеннолетия, он получил сан священника.

Таким образом, к тому времени, к которому относится начало нашего романа, брат Доминик священнослужительствовал уже два года.

Это был человек лет двадцати восьми, с большими черными, живыми и проницательными глазами, умным лбом и бледным мрачным лицом. При высоком росте он обладал плавностью и сдержанностью движений и величавой походкой. Глядя на него, когда он шел теневой стороной улицы, несколько печально опустив голову, можно было подумать, что это один из красавцев монахов Сурбарана сошел с полотна и идет мерным величавым шагом, готовый снова броситься в бурные волны мира житейского.

В неукротимой энергии и непреклонной воле, отличавших этого человека, сказывалась скорее непоколебимая верность однажды выбранному принципу, чем борьба властолюбивых страстей.

Разум у этого человека был ясный и трезвый, отношение к вещам и людям – прямодушное, сердце – доброе и отзывчивое.

Единственным непростительным грехом он считал равнодушие к интересам человечества, потому что, по его мнению, любовь к человечеству лежала в основе благодеяния общества. Когда он говорил о чудной гармонии, основанной на братстве, которая со временем, хотя и в весьма отдаленном будущем, должна воцариться между народами, подобно гармонии, существующей между звездами и планетами во Вселенной, им овладевало пламенное вдохновение.

О свободе народов он говорил с блистательным красноречием, которое увлекало слушателей неотразимым обаянием, – слова его сопровождались невольными возгласами глубоко убежденной души; они вдыхали в человека силу, зажигали в нем огонь энергии; каждый из слушателей был готов взять его за полу монашеской одежды и воскликнуть:

– Иди вперед, пророк! Я всюду последую за тобою!

Но было нечто, постоянно угнетавшее эту сильную душу, и то было обвинение в воровстве, падавшее на его отца.

III. Симфония роз и весны

Таков был молодой монах, появившийся на пороге комнаты умершей вдовы, возле которой усердно молился студент.

При виде этого странного зрелища он остановился.

– Друг, – проговорил он своим звучным голосом, которому умел при случае придавать какой-то удивительно мягкий и утешительный оттенок, – надеюсь, усопшая не мать и не сестра вам?

– Нет, – ответил Коломбо, – сестер у меня никогда не было, а мать умерла, когда мне было всего пятнадцать лет.

– Бог сохранил вас для опоры в старости вашего отца, Коломбо.

Монах подошел ближе и хотел опуститься на колени.

– Постойте, Доминик, – проговорил Коломбо, – я послал за вами, потому что...

– Потому что я был вам нужен, а я поэтому уже и пришел. Я к вашим услугам.

– Я послал за вами, друг, потому что женщина, труп которой вы видите, умерла от разрыва сердца. Жизнь она вела честную, соседи считали ее святой, но исповедаться и причаститься перед смертью она не успела.

– Судить о том, в каком настроении душевном она скончалась, может один только Бог, – возразил монах. – Будем молиться за нее!

Он подошел к Коломбо и встал рядом с ним на колени.

Коломбо, однако, пробыл с ним недолго. Возле больничной была сиделка, возле умершей – священник, но ему самому предстояло позаботиться еще о многом.

Мимоходом он справился о том, как чувствует себя Кармелита. Оказалось, что доктор прописал ей какую-то микстуру с опиумом, и она уснула.

Коломбо захватил с собою все свои деньги до послед него сантима и устроил все дела с гробовщиками, с духовенством и кладбищенскими старостами.

Он вернулся домой только в семь часов вечера.

Доминик задумчиво сидел у изголовья умершей.

Ревностный служитель Божий ни на минуту не отходил от нее.

Коломбо уговорил его сходить пообедать. Казалось, что этот странный человек вовсе не подчинен потребностям, от которых так зависят другие люди. Он внял настоятельной просьбе Коломбо, но минут через десять возвратился и снова занял свое место.

Между тем Кармелита проснулась в усилившемся бреде. Но нет худа без добра – в бессознательном состоянии она не могла понять того, что предстояло.

Страдания физические переживаются гораздо легче страданий душевных.

Соседи приняли горячее участие в похоронах доброй вдовы. Гробовщик принес гроб и вместо того, чтобы заколотить его гвоздями, привернул крышку винтами, чтобы Кармелита даже в бреде не слышала зловещего стука.

Так как покойница скончалась скоропостижно, тело ее можно было отнести в церковь Св. Жака только на третий день после смерти.

Заупокойную обедню служил в малом притворе брат Доминик.

После этого тело отвезли на Западное кладбище.

За гробом шли Коломбо и двое ремесленников, которые решились пожертвовать своим дневным заработком, чтобы исполнить долг христианского человеколюбия.

Болезнь Кармелиты шла своим порядком. Доктор оказался знатоком своего дела и вел его чрезвычайно искусно. Через восемь дней больная пришла в себя, через десять была уже вне всякой опасности, а через пятнадцать встала с постели.

Узнав о смерти матери, она горько заплакала, и это спасло ее.

Сначала она была так слаба, что с трудом могла произнести слово.

Когда она в первый раз открыла глаза, то увидела возле своей постели благородное лицо Коломбо. Он же был и последним человеком, которого она видела перед потерей сознания. Она слабо кивнула головой в знак благодарности, приподняла свою исхудалую руку и протянула ее молодому человеку, а тот, вместо того, чтобы пожать ее, поцеловал с таким почтением, будто в его глазах страдание уравнивало бедную девушку с величественной королевой.

Выздоровление Кармелиты длилось целый месяц, и только в начале марта она была в силах перебраться в свою квартиру, так что и Коломбо вернулся к себе.

С этого дня близость, установившаяся между молодыми людьми, оборвалась. В памяти Коломбо сохранился образ красоты этой девушки. В сердце Кармелиты запало чувство беспредельной благодарности к своему молодому спасителю.

Но видеться они стали редко, – только как соседи по квартирам. При встречах они обменивались несколькими словами и снова расходились, никогда не заглядывая один к другому.

Наступил май. Садик, относившийся к квартире Коломбо, отделялся от садика Кармелиты только низеньким забором.

Таким образом, они бывали как бы в одном общем саду, и осыпавшиеся цветы в саду одного засыпали своими лепестками сад другого.

В один вечер Коломбо по просьбе Кармелиты раскрыл свой давно покинутый рояль, и в надвигающихся сумерках полились сладкие, ласкающие звуки. Они вырывались из окна, дрожали в пахучей зелени сада и вместе с ее ароматом влетали в окна Кармелиты.

Но на всем этом лежало чувство невыразимой грусти.

Кармелита была в таком настроении, когда измученное тоскою сердце как-то бессознательно просит сочувствия и ласки.

Ее внешность была способна расположить к ней каждого, а в молодом сердце юноши заронить и пылкую любовь.

Она была высока, стройна и гибка, а прекрасные темно-каштановые волосы ее были так густы, что казались даже жесткими, хотя на ощупь были мягче шелка.

Глаза у нее были точно сапфировые, губы пунцовые, зубы белые до синевы перламутрового отлива.

В один майский вечер Кармелита сидела у окна, глядя в сад и вдыхая душистый свежий воздух. Ее опьяняли и этот вид, и аромат.

Весь день было удушливо жарко; часа два или три шел дождь, а часов в семь, открывая окно, Кармелита была поражена тем, что те самые розы, которые она видела утром в бутонах, теперь совершенно распустились.

Сойдя в сад, она застала там и Коломбо и, подойдя к разделявшему их низенькому забору, попросила его объяснить ей это странное явление.

Сама она знала по ботанике очень немного, так как в те времена наука эта считалась для девушки совершенно излишней.

Коломбо, который уже не раз замечал этот пробел в ее познаниях, тотчас же подошел к забору и начал читать ей лекцию по физиологии растений, избегая тех научных и непонятных женщинам выражений, которыми почему-то загромождали науку ученые.

Он говорил очень просто, ясно, увлекательно, переходя от простейшего к более сложному, сопровождая речь свою живыми примерами, начиная со стебелька, едва пробившегося из семени, и кончая одной из распустившихся и удививших ее роз.

Несколько раз он прислушивался к себе и хотел за кончить свою лекцию, чтобы не утомить девушку и не надоесть ей. Но если бы темнота и густая листва не мешали ему хорошо видеть лицо своей слушательницы, он заметил бы на нем выражение живейшего интереса.

Вдруг по небу пронеслась и упала звезда, и разговор незаметно перешел с земных цветов на небесные светила, на мифологические имена, которыми обозначило их человечество, на Грецию, Египет и Индию, на этих прародителей человеческой культуры.

О людях они не думали и не говорили, и оба ничуть не подозревали, что все эти цветы, волны, облака, звезды и ветры мало-помалу приведут их к той короткости в отношениях, с которой начинается платоническая любовь двух разумных существ.

Между тем увлечение, с которым говорил Коломбо, и то сосредоточенное внимание, с которым его слушала Кармелита, были именно зачатками этой любви.

Ей было семнадцать лет, ему двадцать два. Воздух был очищен грозой, и теперь они дышали живительной влажностью и ароматом, которые неотразимо действуют на каждое человеческое существо.

IV. Могила де ла Вальер

Итак, в этот вечер, пропитанный ароматом и жизненной силой весны, сердца девушки и юноши бессознательно открылись для любви.

Между тем на церковной башне пробило полночь. Оба, насчитав двенадцать звонких и четких ударов, невольно удивленно и опасливо вскрикнули, обменялись мимолетными прощальными словами и разбежались как люди, сами себя заставшие за невольно совершенным преступлением.

Поднявшись до второго этажа, они остановились у открытого окна, залитого яркими лучами лунного света. Вдали четко рисовалась чья-то могила, обсаженная розами.

– Что это за могила? – спросила Кармелита, облокачиваясь на подоконник.

– Там похоронена де ла Вальер, – ответил Коломбо, становясь рядом с нею в тесной амбразуре лестничного окна.

– Каким же образом могила такой женщины очутилась здесь? – с истинно женским любопытством продолжала Кармелита.

– Все пространство, которое вы отсюда видите, – сказал Коломбо, – составляло прежде сад монастыря того ордена, поэтическое имя которого вы теперь носите. Старинные легенды повествуют, что посередине стояла церковь, построенная на развалинах храма Цереры. Кто и когда построил эту церковь, с точностью неизвестно. Есть, однако, предположение, что она была основана во времена короля Роберта Благочестивого. Достоверно же известно только то, что в десятом веке ее занимали в качестве приоратства монахи-бенедиктинцы из аббатства Мармутье под названием Нотр-Дам-де-Шан, а в 1604 году ее уступили монахиням-кармелиткам ордена Св. Терезы. Екатерина Орлеанская, герцогиня Лонгвильская, бывшая под влиянием нескольких духовных лиц, которые соблазняли ее титулом основательницы, выпросила у короля через Марию Медичи все полномочия на основание этого учреждения. С согласия короля Генриха IV и благословения папы Кlementa VIII из Авилы в Париж привезли шесть монахинь, бывших под непосредственным началом Св. Серафимоподобной Терезы. Эти шесть монахинь были первыми представительницами их ордена во Франции. Они поселились в монастыре, которого теперь не существует, молились, пели и умерли в церкви, от которой ныне не осталось ничего, кроме этой могилы.

– Ах, как это интересно! – вскричала Кармелита, не переставая удивляться естественнoнаучным и историческим чудесам, которые весь вечер открывал ей молодой человек. – А известно, как звали этих монахинь?

– Я это знаю, – с улыбкой ответил бретонец. – Я ведь страстный охотник до легенд. Их звали: Анна де Жезю, Анна де Сен-Бартеlemi. Изабелла де Анже, Беатриса де ла Коспенсион, Изабелла де Сен-Поль и Элеонора де Сен-Бернар. Герцогиня Лонгвильская сама выехала к ним навстречу и пожелала, чтобы их въезд в приоратство сопровождался торжеством.

Очень может быть, что, в сущности, все это вовсе не было так интересно, как воображали Кармелита и Коломбо. Однако они, если и кривили при этом душой, то единственно ради того, чтобы иметь благовидный предлог остаться вместе. В подобных случаях все хорошо и оправданно, и религиозно-легендарный вопрос продолжал обсуждаться с прежним оживлением.

– Ах, как бы мне хотелось увидеть духовное торжество того времени! – вскричала Кармелита.

– Хорошо! – ответил Коломбо. – Оставайтесь на своем теперешнем месте, закройте глаза, слушайте меня и заставьте поработать свое воображение. Представьте себе, что влево от вас стоит темная, массивная громада монастыря с высокими стенами... Прямо, напротив нас, – церковь... Да вот подождите, – оборвал он сам себя и побежал наверх, в свою квартиру.

– Куда это вы? – спросила Кармелита.

– Сейчас принесу книгу, – крикнул он сверху.

Минуты через две он опять был возле нее с большой книгой в руках.

– Ну, теперь опять закройте глаза.

– Хорошо. Закрыла.

– Видите вы монастырь налево?

– Да, вижу.

– Ну, а церковь напротив себя?

– Да, и ее.

Коломбо открыл книгу.

Луна достигла своего зенита и светила так ярко, что молодой человек мог читать свободно, как днем:

«В среду 24-го августа 1605 года, в день святого Варфоломея, в Париже была устроена процессия сестер-кармелиток, которые в этот день вступали во владение своим домом. Народ следовал за ними огромной толпой. Они продвигались вперед в строгом порядке, а во главе их шел доктор Дюваль с жезлом в руке.

Но, по воле несчастья, это прекрасное священное шествие было нарушено звуками двух скрипок, которые начали наигрывать плясовую, что смутило весь народ, а кармелиток заставило быстро удалиться в их церковь, где они, очутившись в безопасности, стали петь *Te Deum landamus...*»

– Видели вы? – спросил Коломбо.

– Да, но только мне виделось не то, что я хотела видеть, – с улыбкой ответила Кармелита.

– Да ведь и с открытыми глазами часто видишь не то, что хочется, – сказал Коломбо, – а про закрытые и говорить нечего.

– Так вот в этот монастырь и поступила девица де ла Вальер?

– Да, и провела в нем тридцать шесть лет в постоянных религиозных подвигах, и скончалась 6-го июня 1710 года.

– Значит, и прах несчастной герцогини лежит вот в той могиле?

– Нельзя утверждать это наверное: есть риск впасть в заблуждение.

– Так ее выкопали?

– В 1790 году одним из декретов народного собрания монастырь этот был упразднен... Церковь разрушили... Кто знает, что случилось в это время с прахом бедной герцогини, которую Ле-Брен изобразил в виде Магдалины. Но так как вы, даже целое столетие спустя после ее смерти, все еще принимаете в ней такое горячее участие, то я скажу вам: есть поверье, что прах ее пощадили и что он все еще покоится в подземелье под этой часовней.

– А можно войти в это подземелье? – спросила Кармелита с нерешительностью любопытства, которое боится разочарования.

– Да, туда не только что ходят, но там даже и живут.

– Кто это решается на такое святотатство?

– Садовник, который вырастил все эти чудные розы, ароматом которых мы теперь дышим.

– Ах, как бы мне хотелось сходить в эту часовню.

– Это очень легко.

– Да как же это?

– Нужно только спросить позволения у садовника.

– А если он откажет?

– Если он откажет показать вам часовню, вы попросите его, чтобы он показал вам свои розы, а из любви к ним он покажет вам и часовню.

– Значит, все эти розы – его?

– Да.

– Куда же он деваает такую массу цветов?

– Продает, – ответил Коломбо просто.

– О, злой человек! – с каким-то детским негодованием вскричала Кармелита. – Продавать такую прелесть! Я думала, что он выращивает их из религиозного чувства или хоть просто потому, что очень любит их.

– Нет, он ими торгует. Да вот если вы нагнетесь, то увидите на моем окне три куста, которые он мне продал на днях.

Девушка нагнулась, и ее прекрасные волосы коснулись лица Коломбо, отчего тот вздрогнул.

Она тоже почувствовала его дыхание, покраснела и выпрямилась.

– Ах, как мне хотелось бы иметь хоть одну розу с этой могилы, – неосторожно обронила она.

– Позвольте предложить вам одну из моих! – по спешно предложил Коломбо.

– О, нет, благодарю вас! – спохватилась Карме лита. – Мне хотелось бы самой выкопать свою розу из земли, на которой жила сестра Луиза Милосердная и в которой, может быть, и теперь еще хранится ее прах.

– Почему бы вам не пойти туда завтра же утром?

– Нет, одной неловко.

– Если позволите, я провожу вас.

Девушка призадумалась.

– Послушайте, мосье Коломбо, – заговорила она с заметным усилием, – я вам очень благодарна и очень вас уважаю, но если бы я вышла с вами под руку днем, все сплетницы нашего квартала пришли бы в ужас и волнение.

– Так пойдемте вечером.

– Да разве вечером можно?

– Почему бы и нет?

– Мне кажется, что садовник должен ложиться в одно время со своими цветами и вставать тоже вместе с ними.

– В котором часу он ложится, я не знаю, но встает он, наверно, раньше своих цветов.

– Почему вы так думаете?

– Иногда, когда мне ночью не спится, – Коломбо произнес эти слова с заметной дрожью в голосе, – я сажусь к окну и вижу, как он бродит по саду с фонарем в руках... Да вот и теперь... разве вы не видите, что между кустами роз быстро мелькает огонек?

– Зачем это он так бегаёт?

– Вероятно, гоняется за какой-нибудь кошкой.

– Да, но если он теперь уже встал, то ему, кажется, еще очень рано, а так как мы еще не ложились, то для нас теперь поздно, – заметила Кармелита улыбаясь.

– Поздно? – переспросил Коломбо.

– Разумеется! Который может быть теперь час?

– Часа два, – нерешительно произнес юноша.

– Ах, Господи! Я никогда не ложилась так поздно! – вскричала девушка. – Два часа! Прощайте, мосье Коломбо. Очень вам благодарна за ваши объяснения, а когда-нибудь вечером, когда все соседи улягутся, – прибавила она тише, – мы пойдем вместе выкапывать розы.

– Лучшей ночи, чем сегодняшняя, нам не дожидаться, – возразил Коломбо, силясь не дрожать всем телом.

– О да, если бы я не боялась, что меня увидят, я пошла бы сейчас же! – откровенно призналась девушка.

– Да кто же может теперь вас увидеть?

– Да прежде всех – консьержка.

– О ней не беспокойтесь. Я могу отпереть дверь и без нее.

– Неужели у вас есть отмычка?

– Нет! Я заказал себе ключ, потому что засиживаюсь иногда в кабинете для чтения далеко за полночь, а так как консьержка наша – женщина болезненная, то мне было совестно часто будить ее.

– Хорошо. В таком случае пойдемте туда сейчас же. Мне кажется, что если я теперь лягу, то все равно не засну.

О, юная Кармелита, одна ли роза влекла тебя к этой прогулке?..

Она сбегала домой, надела шляпку, набросила на плечи косынку, и они тихонько спустились с лестницы.

Перейдя улицу Св. Жака и Валь-де-Грас, они очутились на улице Анфер перед большими решетчатыми воротами, запирающими вход в бывший сад кармелиток.

Коломбо позвонил.

Звонок в такие часы был для садовника делом небывалым, и он отпер не сразу.

Однако на второй звонок он подошел, поднял свой фонарь до уровня лиц своих ночных посетителей и тотчас же узнал молодого человека, которого часто видел в окнах его квартиры и слышал, как он там поет и играет.

Садовник отпер калитку и пустил в свой рай современного Адама с его Евой.

Роскошный сад, видневшийся из окон Коломбо и Кармелиты, был не что иное, как огромный питомник роз, среди которых другие цветы не допускались.

Кармелита шла под руку с Коломбо и слушала перечень всевозможных видов роз, которые с самолюбивым удовольствием сообщал им шедший впереди садовник. Наконец, они подошли к капелле сестры Луизы Милосердной.

Кармелита нерешительно остановилась. Коломбо уговорил ее войти, она было послушалась, но тотчас же с испугом вышла.

Вид стен, увешанных вместо росписей или картин лопатами, вилами, косами, кирками, граблями и колоссальными ножницами, произвел на нее чрезвычайно тяжелое впечатление.

Ей захотелось опять на чистый воздух, под лазорево-серебристое сияние луны, и она попросила лучше осмотреть часовню снаружи.

Оказалось, что вокруг нее густой чащей разрослись кусты роз футов в шесть вышиною.

– Что это за чудные великаны розового царства? – спросила Кармелита с восторгом.

– Это роза Александрийская, она цветет белыми цветами, – отвечал садовник. – Она произрастает или на самом юге Европы, или на берегах Варварийских, из ее цветов изготовляют розовую эссенцию.

– Можете вы продать мне один из этих кустов?

– Который?

– Вот этот.

Кармелита указала на тот, который рос ближе всех к могиле.

Садовник сходил в часовню и принес лопату.

В нескольких шагах от них запел соловей.

Луна мгновенно перестала быть обыкновенной луною, а обратилась в греческую Фебу, смотрящую на землю влюбленными глазами, отыскивая на ней тень прекрасного Эндимиона.

Воздух дрогнул от легкого ветерка, напоминавшего нежный поцелуй любящего существа.

Высокая фигура девушки, одетой в траур, молодой человек, также весь в черном, и садовник, выкапывающий розовый куст у надгробного памятника, составляли поистине поэтическую и таинственную картину. Казалось, каждый из них со вздохом повторял:

– Жизнь, чудный дар! Благодарю Тебя, Создатель, что наградил им нас в одно и то же время!

Но первый же удар лопаты садовника отозвался в сердцах молодой пары болью. Им казалось, что нарушать покой земли, в которой хранился прах святой жертвы царственного эгоиста, звавшегося Людовиком XIV, было каким-то святотатством.

Они ушли из питомника, унося с собою желанный розовый куст, но с таким же страхом в душе, с каким бегут домой дети, унесшие цветок с кладбища.

Но, очутившись на улице, они тотчас забыли печальные мысли, наслаждались и собственной болтовней, и ароматом цветов, и видом звезд, и в душе обоих звучала полубессознательно для них самих благодарность к Творцу за все блага и восторги их юного существования...

V. Коломбо

Сердце молодого бретонца, которого мы называли Коломбо, было настоящим бриллиантом, главные грани которого составляли доброта, кротость, невинность и честность.

Некоторые из виднейших личностей колледжа, – т. е. именно те философы, которые кутят в восемнадцать, а в двадцать два становятся уже плешивыми льва ми, – прозвали его Коломбо де Ние за несколько добрых порывов, после которых он оказывался совершенно одураченным из-за своей открытости и доверчивости.

Благодаря своей геркулесовой силе он, разумеется, мог бы заставить замолчать всех этих насмешников, но он относился к ним с тем же презрением, с каким относятся сенбернары к королевским пуделям.

Но однажды один из самых тщедушных креолов, толь ко что приехавший в колледж из Луизианы, глядя на неистощимое терпение, с которым Коломбо выслушивал обидные прозвища товарищей, вообразил, что угодит общественному мнению школьников, если хорошенько дернет его сзади за волосы.

Если бы это было простой шуткой, Коломбо, разу меется, промолчал бы. Но он видел, что то было нечто совсем иное.

Случилось это во время вечерней перемены, когда все прогуливались в гимнастическом дворе. Маленький креол взобрался для большего удобства и безопасности на плечи одного из самых высоких воспитанников и уже оттуда схватил Коломбо за волосы и принялся весьма чувствительно трепать его.

Почувствовав сильную боль и сознавая всю неловкость своего положения, Коломбо, ничем не выражая ни своего страдания, ни овладевшего им гнева, обернулся, схватил креола за шиворот, сдернул его с плеч высокого товарища и отнес к трапедии, с которой свисала веревка с узлами.

Здесь он обвязал его веревкой поперек тела и, от пустив, раскачал.

Остальные школьники сначала хохотали, но вскоре притихли, а затем начали протестовать, однако все их слова не произвели на Коломбо ни малейшего впечатления. Высокий воспитанник, с плеч которого он сорвал назойливого Камилла Розана, подошел и потребовал отвязать маленького креола.

Коломбо достал из кармана часы, пристально взглянул на них и хладнокровно ответил:

– Он провисит так пять минут.

Между тем мальчик пребывал в таком мучительном положении уже пять минут перед этим объявлением.

Высокий ученик, бывший на целую голову выше Коломбо, злобно бросился на него, но бретонец ловко схватил его поперек тела, сжал до удушья, как Гер кулес Антея, о чем он узнал из курса мифологии, и спокойно положил на землю.

Все школьники неистово аплодировали, так как наша молодежь уже со школьной скамьи привыкает преклоняться перед сильнейшим.

Между тем Коломбо так нажал коленом на грудь своего противника, что тот чуть не задохся и стал просить пощады, но упрямый бретонец опять вытащил свои часы и сказал:

– Нет, еще две минуты.

Двор задрожал от восторженных криков школьников.

Тело Камилла Розана раскачивалось все тише и тише, но движение все-таки еще не прекратилось.

Ровно через пять минут Коломбо, не уступавший в верности своему слову даже знаменитому земляку своему Дюгесклену, выпустил большого ученика и отвязал маленького. Стар-

ший и не подумал с ним рассчитываться, а младший ушел со злости в лазарет и пробыл там целый месяц.

Само собой разумеется, что они тотчас же сделались предметом неистощимых насмешек, а Коломбо осыпали похвалами. Но он, по-видимому, не высоко ценил эти восторги:

– Вы сами теперь видели, господа, на что я способен и знайте, что с первым, кто вздумает надоедать мне, я сделаю то же самое.

С этими словами он спокойно пошел дальше. Жизнь Камилла Розана была в течение целого месяца в величайшей опасности, и все очень тревожились за исход его болезни. Но больше всех терзался тревогой, часто доходившей до отчаяния, сам Коломбо. Он совершенно забывал, что начал ссору не сам, а только вынужден был защищаться, и искренне считал себя единственной причиной страданий мальчика.

Само собою разумеется, что когда Камилл стал выздоравливать, в сердце Коломбо проснулась по отношению к мальчику та нежность, какую испытывает сильный к слабому, победитель к побежденному и которая составляет одну из лучших черт человеческого сердца.

Мало-помалу эта нежность обратилась в серьезную дружбу, и Коломбо полюбил Камилла, как любит старший брат младшего.

Маленький креол тоже привязался к Коломбо с той разницей, что в его приязни была немалая доля страха. При его физической слабости ему приятно было сознавать себя под чьим-нибудь покровительством, но в то же время его самолюбие ставило невидимую, но непреодолимую преграду между ним и его другом – покровителем.

Характер у него был заносчивый, и он каждый день рисковал получить от кого-нибудь из товарищей такой же назидательный урок, какой дал ему Коломбо. Но тот был всегда на страже и стоило ему только обернуться и спросить своим спокойным голосом: «Ну, что там опять такое?» – как все угрожавшие Камиллу покорно отступали.

С годами гордость креола, казалось, стихла, и в душе его не оставалось ничего, кроме чистой и искренней привязанности к Коломбо, что он и доказывал при каждом удобном случае. Они были разного возраста, а потому учились в разных классах, спали в разных дортуарах и могли видеться только во время перемен. Но привязанность креола к Коломбо была так велика, что как только он его не видел, то принимался писать ему. Мало-помалу между ними установилась постоянная переписка, такая же подробная и душевная, как между двумя влюбленными.

Вообще, первая юношеская дружба отличается всей горячностью первой любви. Сердце, как человек, долго проживший в заточении, ждет только свободы, чтобы раскинуть под солнечными лучами теплое чувства свои сокровеннейшие мысли.

Таким образом, между друзьями установилась тесная связь, а когда на следующий год Камилл перешел на одно отделение с Коломбо, они стали неразлучны, и все вещи, бумага, перья, белье и деньги стали их общей собственностью.

Когда родные присылали Камиллу из Америки варенье и консервы, он делил все пополам и откладывал одну половину в ящики Коломбо. Если же старый граф решал снабдить сына соленьями из Бретани, Коломбо поступал с ним так же, как Камилл с вареньем.

Дружба эта, с каждым днем становившаяся сильнее, вдруг была прервана тем, что родители Камилла, когда он окончил курс философии, потребовали его возвращения в Луизиану. Друзья обнялись и расстались, обещая друг другу сообщать о себе в письмах, по крайней мере, раз в две недели.

В первые три месяца Камилл был верен данному слову, но затем стал писать только по одному разу в месяц, а под конец и вовсе по одному разу в три месяца.

Что же касается честного бретонца, то он строго исполнял свое обещание и ни разу не пропустил обещанного двухнедельного срока.

На другое утро после весенней ночи, о которой мы только что рассказывали, часов в десять старушка-консьержка принесла молодому человеку письмо, автора которого он тотчас же узнал по почерку.

Письмо было от Камилла. Он возвращался во Францию. Письмо могло опередить его самого всего на несколько дней.

Он предлагал Коломбо возобновить те же отношения, которые существовали между ними в школе.

«Ты сообщал мне, – писал креол, – что у тебя кухня и три комнаты. Позволь же мне занять половину кухни и полторы комнаты».

– Еще бы! – вскричал Коломбо, радостно взволнованный неожиданным возвращением друга.

Вдруг ему пришло в голову, что к приезду милейшего Камилла нужно будет приготовить кровать, умывальник, туалетный стол и, в особенности, диван, на котором беспечный креол мог бы курить свои превосходные мексиканские сигары. Коломбо тотчас же оделся, захватил с собою все свои сбережения – триста или четыреста франков – и отправился делать покупки.

На лестнице он встретился с Кармелитой.

– Господи, какой у вас сегодня счастливый вид, мосье Коломбо! – вскричала девушка, глядя ему в лицо.

– Да, я сегодня чрезвычайно счастлив! – сказал он чистосердечно. – Из Америки, из Луизианы, ко мне воз вращается друг. Мы сдружились с ним еще в школе, и я люблю его, кажется, больше всех остальных.

– Отлично! – понимающе вскричала она. – А когда он приедет?

– Точно не знаю, но мне так хотелось бы, чтобы он был уже здесь!

Кармелита рассмеялась.

– Право, я был бы очень рад – повторил Коломбо. – Я уверен, он вам ужасно понравится. Это олицетворенная красота и веселость. Я никогда не видел такого красавца даже среди идеалов красоты, созданных мечтами художников! Единственный недостаток в нем – это, может быть, некоторая женственность, – прибавил он не для того, чтобы уменьшить достоинства красоты, которой сам восхищался, а только во имя правды. – В нем есть что-то женственное, но даже и это к нему чрезвычайно идет. Наверно, у сказочных принцев были такие же прелестные лица. Сами бакалавры Саламанки не умели ходить изящнее его, а беззаботностью он перещеголял даже наших парижских студентов. Кроме того, – вот уж этим он наверняка очарует вас, такую любительницу музыки, – у него прелестнейший тенор, и поет он мастерски! Когда-нибудь мы споем вам старинные дуэты, которые распевали в школе. Ах, кстати о музыке... Сегодня ночью мне пришло в голову сделать вам одно предложение. Вы ведь говорили мне, что в Сен-Дени учились музыке?

– Да, я пела там сольфеджио, и говорили, что у меня порядочный контральто, и если я о чем и жалела, выходя из Сен-Дени, так это единственно о трех подругах, с которыми была так же дружна, как вы с Камиллом Розаном, и о моих уроках пения, ведь мне уж нельзя было их про должать. Кажется, что при некотором старании из меня бы что-нибудь да и вышло.

– Ну, так вот я и хотел предложить вам не то, что я стану давать вам уроки, потому что с моей стороны это было бы слишком смело, – но мы могли бы разучивать некоторые вещи вместе и, может быть, я был бы вам полезен, потому что в школе я учился у очень хорошего профессора, у старика Мюллера. Да и после того я много занимался и все свои познания предлагаю к вашим услугам.

Коломбо сам испугался, что сказал так много, но весть о приезде дорогого друга совершенно преобразила скромного и добродушного юношу.

Кармелита приняла его предложение с величайшей благодарностью. Если бы ей предложили целое состояние, ее это так не порадовало бы, и она уже собиралась высказать ему это, но

увидела на последних ступеньках лестницы доминиканского монаха, который читал молитву над ее матерью и которого она уже несколько раз встречала, когда он поднимался к Коломбо.

Девушка вспыхнула и убежала.

Коломбо был тоже заметно смущен.

Монах взглянул ему в лицо с удивлением и упреком, как бы желая сказать ему:

– Я отдал тебе всю мою дружбу и думал, что и ты поверяешь мне все свои тайны. Но вот важная тайна, а ты и не упомянул о ней!

Коломбо вспыхнул, как молоденькая девочка, и, отложив покупку мебели до другого раза, возвратился домой.

Пять минут спустя Доминик знал сердечную тайну своего друга гораздо лучше, чем он сам.

Коломбо рассказал ему все, не исключая события последней ночи, которое все еще наполняло его сердце любовью и поэзией.

Упрекая Коломбо за эту чистую и честную любовь, молодой монах очутился бы в безвыходном противоречии со своей теорией всемирной любви, потому что он называл любовь чувственную, в какой бы форме она ни проявлялась, «центром жизни».

Поэтому брат Доминик увидел в зарождающейся страсти своего юного друга не больше, как оживляющую лихорадку, которая была скорее полезна, чем вредна.

Он даже не сердился на Коломбо и за то, что тот раньше не признался ему в своем чувстве, так как видел, что тот и сам еще не сознает его ясно.

Когда молодой бретонец сам понял наконец, что в нем заговорило сердце, он сильно покраснел, точно чего-то испугавшись.

Монах улыбнулся и взял его за руку.

– Для вас такая любовь необходима, друг мой, – сказал он, – иначе вся ваша молодость прошла бы в безысходной апатии. Благородная страсть, которая одна только и сродни вашему сердцу, может воодушевить его, возродить его к новой жизни. Взгляните на этот сад, – продолжал монах, указывая на питомник, – вчера земля в нем была суха, все растения опустились и поблекли. Но вот прогремела гроза – и из-под земли появились новые побеги; кусты покрылись бутонами, бутоны обратились в цветы. Люби же, юноша, цветы и красуйся плодами, как юное дерево! Никогда не цвели цветы и не зрели плоды на стволе более благородные, чем ты.

– Значит, вы не только не осуждаете меня, но еще поощряете слушать советы моего сердца! – вскричал Коломбо.

– Я рад тому, что вы полюбили, друг! И если я за что-нибудь упрекаю вас, то только за то, что вы скрыли от меня свое чувство, потому что обыкновенно скрывают только любовь порочную. Я не знаю в мире ничего лучшего, чем зависимость хорошего человека от его собственного сердца; потому что насколько в натуре низкой страсть унижает человеческое достоинство, настолько в натуре благородной она его возвышает. Взгляните хоть на все отдаленнейшие точки земного шара, друг, и везде вы увидите, что внутренними пружинами царств руководили, скорее, живые силы страсти, чем премудрые соображения гения. Как ни обширен разум человеческий, он все-таки слаб, труслив и всегда готов отступить перед первыми же встречными препятствиями. Но сердце – наоборот! Оно вечно волнуется, вечно быстро и энергично в своих решениях, твердо в их исполнении, и никто не может воспрепятствовать в непреодолимом течении его стремлений. Разум – это основа покоя, а сердце – это жизнь. Следовательно, покой в вашем возрасте, Коломбо, составляет опасную праздность и, если бы мне пришлось выбирать, я скорее согласился бы, чтобы во мне кипели силы жизни, которыми я стал бы сотрясать столбы храма, чем чтобы во мне царил покой, во время которого меня безвозвратно погребли бы под собою каменные своды.

– А между тем, почтенный брат, сами вы все-таки не смеете любить, – заметил Коломбо. Монах грустно улыбнулся.

– Ваша правда, – проговорил он. – Я не могу любить вашей чувственной, земной любовью, потому что меня избрал Бог. Но лишая меня любви личной, он вознаградил меня любовью ко всем вообще. Вы страстно любите одну женщину, друг, а я страстно люблю всех. Для вашей любви необходимо, чтобы предмет ее был и молод, и прекрасен, и богат, и платил вам взаимностью. А я, наоборот, люблю прежде всего бедных, уродливых, несчастных и страждущих, и если у меня нет силы духовной любить тех, кто ненавидит меня, то я, по крайней мере, глубоко сочувствую им. Думая, что мне запрещено любить, вы жестоко ошибаетесь, друг Коломбо. Бог, которому я посвятил себя, это есть основа всякой любви, и бывают минуты, когда я способен, как святая Тереза, плакать над судьбой сатаны, потому что он есть единственное существо, которого невозможно любить.

Разговор продолжался еще долго на той благодарной почве, на которую его свел брат Доминик. Монах указывал молодому другу все те стадии, на которых разум и духовная сила одерживали блистательные победы над страстью, и задумчиво слушавшему его Коломбо казалось, что он послан для того, чтобы приподнять перед ним одну из темнейших завес жизни, а он сам чувствовал себя под влиянием его слов чище, выше и достойнее любви. Ему ни разу не пришла в голову мысль, что любимая девушка не разделяет его чувства. Если судить по его рассказам, он казался и поэтом, и живописцем; поэтом – по силе и образности его выражений, художником – по той пластичности, с которой он говорил о чувстве своего воодушевленного сердца.

По всей вероятности, они провели бы весь день вместе в этой беседе, если бы чей-то голос на лестнице раза три не произнес имени Коломбо.

– О! – вскричал честный бретонец, – ведь это Камилл!

Он не слышал этого голоса целых три года и все-таки узнал его.

– Коломбо! Коломбо! – радостно повторял человек, быстро взбравшийся по лестнице.

Студент отпер дверь и очутился в объятиях Камилла.

Едва ли был во всемирной истории случай, чтобы слепец, встречая свое несчастье в образе лучшего друга, обнимал его с большим жаром и искренностью.

VI. Камилл

При входе Камилла, с которым он раньше знаком не был, брат Доминик, несмотря на все упрашивания Коломбо, ушел.

Камилл проводил его глазами до двери.

– Ого! – проговорил он, когда дверь затворилась. – Будь я римлянином, это было бы для меня дурным предзнаменованием!

– То есть, как это?

– Разве ты забыл наставление: «Если, выходя из дому, запнешься ногою о камень или увидишь слева черную ворону, то возвратись домой».

По лицу Коломбо пробежало грустное, почти страдальческое выражение.

– Ты все тот же, мой милый, – проговорил он, – и твое первое слово составляет разочарование для друга, который ждал тебя с таким нетерпением.

– Это почему?

– Потому что эта черная ворона, как ты выразился...

– Совершенно верно! Я ошибся, – мне следовало бы назвать его сорокой, потому что он наполовину белый, наполовину черный.

Коломбо показалось, что его второй раз ударили по сердцу.

– Потому, что эта ворона или сорока – один из лучших и умнейших людей в мире, – продолжал он. – Когда ты узнаешь его покороче, то сам пожалеешь, что принял его за одного из тех попов, которые борются против Бога, вместо того, чтобы бороться за него. Тебе станет тогда стыдно своих детских насмешек.

– О! Ты тоже по-старому важен, серьезен и назидателен, как миссионер! – расхохотался Камилл. – Ну, пусть будет по-твоему, – я виновен и жалею, что неправильно отнесся к твоему другу. Ведь этот красавец монах, вероятно, друг твой? – прибавил он несколько серьезнее.

– Да, и притом друг очень мне дорогой, – подтвердил бретонец веско.

– Я очень сожалею о своей шутке, но когда мы были в школе, ты не отличался особенной набожностью, а потому я и удивился, когда застал тебя в уединенной беседе с монахом.

– Повторяю тебе, когда ты узнаешь брата Доминика, то перестанешь удивляться. Но теперь дело не в этом, – продолжал Коломбо, изменив серьезный тон на прежний добродушный и веселый. – Теперь дело не в брате во Христе Доминике, но в брате во дружбе Камилле. Наконец ты здесь! Обнимем друг друга еще раз. Я не могу тебе выразить, как меня обрадовало сначала твое письмо, а потом и твой приезд. Теперь мы опять заживем по-старому, по-школьному!

– Даже гораздо лучше, чем жили в школе! – подхватил почти так же весело и добродушно Камилл. – Теперь нас не станут стеснять ни надоедливые товарищи, ни воспитатели, и мы можем по целым дням гулять, заниматься музыкой, бывать в театрах по вечерам и болтать по ночам, что в школе было решительно невозможно, потому что за это жестоко попадало.

– Да, помню я эти ночные разговоры! – со вздохом сказал Коломбо. – Милое то было время!

– А помнишь ночи с воскресений на понедельник?

– Да, – задумчиво и не то с веселой, не то с грустной улыбкой проговорил Коломбо. – Я выходил из школы ред ко. Родных в Париже у меня не было, и я целые дни проводил на школьном дворе со своими мыслями и – я горжусь этим – со своими мечтами. А ты просыпался в воскресенье рано, как жаворонок, и улетал, одному богу известно куда. Когда ты уходил, я тебе не завидовал, но мне было грустно. Но вечером ты возвращался ко мне с целым ворохом новых впечатлений, и у нас хватало поводов для болтовни на целую ночь.

– Вот и теперь мы заживем точно так же, и, будь спокоен, мудрец, за рассказами у меня дело не станет, потому что я жил там, как достопочтенный Робинзон, и хочу теперь вознаградить себя в Париже за потерянное время.

– Да, да, вижу, что годы тебя не изменили! – ласково, но озабоченно проговорил серьезный бретонец.

– Нет. А особенно хорошо то, что они оставили в целости всю мою любовь к жизни и наслаждениям. Скажи, пожалуйста, где можно здесь поесть, когда проголодаешься?

– Если бы я знал наперед, когда именно ты приедешь, то мы пообедали бы в нашей столовой.

– А разве ты не получил моего письма!

– Получил, но не больше как час тому назад.

– Ах, да! Совершенно верно! Письмо это пришло в Гавр на одном пакетботе со мною и опередило меня лишь настолько, насколько обгоняет почта дилижанс. Итак, я повторяю свой вопрос: где здесь едят?

– Я очень рад, что ты только что уподобил себя Робинзону Крузо, – сказал Коломбо, – это мне доказывает, что ты привык к лишениям.

– Ты меня приводишь в трепет и ужас! Ради бога, не пугай меня так! Это шутка нехорошая! Ведь я не герой романа, я должен и люблю есть. Еще раз спрашиваю тебя: где здесь едят?

– Здесь условливаются с привратницей или с одной из соседок, и она кормит на славу.

– Хорошо, это ежедневно, но в случаях чрезвычайных?

– Идут к Фликото.

– А! Это тот чудеснейший Фликото на площади Сорбонны! Он все еще существует? Значит, он съел еще не все бифштексы?

И Камилл расхохотался.

– Фликото! Бифштекс и целую гору картофеля!

Он подошел к столу и взял свою шляпу.

– Ты куда это? – спросил Коломбо.

– Иду к Фликото! Пойдем вместе.

– Нет, я не пойду.

– Это почему?

– Потому что мне нужно идти купить тебе кровать, стол, диван, на котором ты будешь курить.

– Ах, кстати о куреве! У меня есть чудеснейшие гаванские сигары, то есть, вернее, они у меня будут, если таможня соизволит мне их отдать. Я думаю, что эти таможенные чиновники всегда курят чудеснейший табак.

– Сочувствую твоему горю, но совершенно бескорыстно. Я не курю.

– Однако ты удивительная дрянь, братец, и, право, я не знаю, найдется ли на свете женщина, которая согласится полюбить тебя.

Коломбо покраснел.

– А! Она уже нашлась? – вскричал Камилл. – Это хорошо!

Он протянул другу руку.

– Поздравляю тебя, мой милый! Значит, в отношении женщин у вас здесь лучше, чем в отношении стола. Ну, и будь уверен, что как только я позавтракаю, то тотчас же примусь за разведку! Право, я теперь очень жалею, что не привез тебе негрityнку... Пожалуйста, не гри-масничай! Между ними есть – прелесть какие! Одно досадно, пожалуй, таможенники отняли бы у меня и ее... Ну, что, идешь ты?

– Я ведь уже сказал, что нет.

– Ах, да! Ты уже сказал! А почему ты это сказал?

– Экий ты ветрогон! Право, ты совершенно пустоголовый!

– Пустоголовый! Ну, в этом отношении ты расходишься во мнениях с моим отцом. Он убежден, что череп у меня набит мозгами. Так почему ты не пойдешь?

– Потому, что мне нужно купить для тебя мебель.

– Это верно. Итак, беги меблировать мою квартиру, а я пойду меблировать мой желудок; но через час мы будем оба здесь.

– Хорошо.

– Хочешь денег?

– Нет, спасибо, у меня есть.

– Ну, так возьмешь потом, когда их у тебя не будет.

– Где это я их возьму? – смеясь, спросил Коломбо.

– Как где? В моем кошельке, если только они там будут. Я ведь – богач! Правда, Ротшильд мне не дядя и Лафитт мне не тесть, но у меня шесть тысяч годовых дохода – пятьсот ливров в месяц или шестнадцать франков, тринадцать су и полтора сантима в день. Если хочешь, можешь купить Тюильри, Сен-Клу или Рамбуйе. Вот в этом кошельке лежат мои доходы ровно за три месяца вперед.

С этими словами Камилл, действительно, вытащил из кармана кошелек, сквозь петли которого сверкало золото.

– Ну, об этом мы потолкуем в другой раз.

– Так через час ты придешь сюда?

– Разумеется.

– В таком случае «Ступай умирать за своего князя, а я погибну за родную страну»! – вскричал Камилл.

И он побежал вниз по лестнице, только не умирать за родную страну, как поэтически выразился Казимир Делавинь, а завтракать к Фликоту.

Коломбо пошел тоже вниз, но спокойно и рассудительно, что и соответствовало его характеру.

Таким образом, насмешливое легкомыслие, с которым Камилл относился даже к вещам серьезным, сказалось в первых же словах, произнесенных им при встрече со старым другом.

Обыкновенно нас, французов, упрекают в легкомыслии, беззаботности и насмешливости. Но на этот раз француз вел себя с серьезностью англичанина, а американец – с легкомыслием француза.

Если бы не возраст, красота, манеры и изящество костюма, то Камилла можно было бы принять за одного из парижских гаменов. В нем было столько же живости, такой же склад ума, такой же беззастенчивый, веселый нрав.

Можно было припереть его в угол, удержать в амбразуре окна, защемить между двумя дверьми и там употребить величайшее красноречие, чтобы угнездить в его голове хоть одну серьезную мысль, но стоило пролететь мухе, он увлеклся ею и обращал на слова убеждающего друга ровно столько же внимания, сколько любой прохожий.

Впрочем, у него было то достоинство, что для того, чтобы понять его характер, не нужно было говорить с ним долго. Через пять минут он был весь как на ладони. Его выдавали слова, походка, лицо, каждое движение.

Прежде всего это был красавец в полном смысле слова, как Коломбо и говорил Кармелите. На стройном, изящном и гибком теле красиво держалась прекрасная голова. Продолговатые, живые карие глаза оттенялись длинными ресницами. Черные, как вороново крыло, волосы окаймляли продолговатое, несколько смуглое лицо. Прямой правильный нос примыкал ко лбу прекрасной линией, встречающейся только на лучших статуях. Небольшой рот окаймлялся свежими пунцовыми губами, как бы постоянно манящими к поцелуям.

Вообще вся его фигура, несмотря на то, что он, как истый южанин, любил слишком яркие галстуки и слишком пестрые жилеты, носила на себе отпечаток такого несомненного достоинства, что даже почтенные маркизы приняли бы его за аристократа старинного рода.

Его капризная, нервная и утонченная красота составляла контраст с серьезной, сдержанной, почти мраморной красотой Коломбо. Один напоминал древнего Геркулеса, другой обладал мягкостью и почти женственной грацией Кастора, Антиноя.

Глядя на них, когда они стояли обнявшись, трудно было разгадать, какая симпатия, какое влечение таинственной духовной природы человеческой притягивало этого сильного человека к слабому и изнеженному юноше. Братьями они быть не могли, потому что природа не допускает контрастов, а потому сделались друзьями.

Покровительство, которое Коломбо оказывал Камиллу в школе, обратилось мало-помалу в дружбу. Коломбо, человек вообще сосредоточенный и цельный, посвятил ему всю силу своих симпатий.

Встретил он своего любимца после разлуки, как родного брата, и так был рад ему, что забыл ради него о том расположении, которое выразил ему брат Доми ник.

Маленькую гостиную, в которой он обыкновенно принимал приходивших навестить его товарищей по школе, он обратил в спальню для Камилла.

Таким образом, кровати их разделяла только тонкая деревянная переборка, сквозь которую было все слышно.

Коломбо пошел было сначала к мебельщику кварта ла Сен-Жан, но не нашел у него ничего, кроме ореховой мебели, и, хотя сам спал на простой крашенной кровати, решил, что его аристократический друг должен спать на постели непременно черного дерева.

Мало-помалу удаляясь от квартала Сен-Жан и перейдя два рукава Сены, он очутился на улице Клэри.

Здесь он нашел все, что ему было нужно: кровать, бюро, диван и шесть стульев из черного дерева.

Стоило все это пятьсот франков.

Но так как в кармане у Коломбо была ровно полови на этих денег, ему пришлось остаться в долгу.

Чтобы застлать кровать, он положил на нее свои два тюфяка, две подушки и одеяло, а сам остался при одном пружинном матрасе, маленькой подушке и зимнем пальто вместо одеяла.

Возвращаясь домой, он спешил как на пожар, воображая, что Камилл ожидает его уже целый час.

К счастью, оказалось, что тот все еще не возвращался.

– Тем лучше! – подумал добряк, – он придет и за станет свою комнату уже готовой!

Камилл пришел домой только в одиннадцать часов вечера.

Коломбо с торжеством ввел его в комнату.

– Ух! – вскричал Камилл. – Мебель черного дерева! Милый мой, у нас ее употребляют только негры.

Сердце Коломбо болезненно сжалось в третий раз.

– Ну, да это все равно, – продолжал Камилл. – Ты ведь хотел сделать лучше. Дай я тебя поцелую. Спасибо тебе.

VII. История княгини де Ванвр

Первые дни совместной жизни друзей пришли в рассказах и воспоминаниях, в которых Камилл являлся то жертвой, то героем.

Все радости этой богато одаренной и эгоистичной натуры состояли в удовлетворении своих прихотей, все горести возникали из невозможности удовлетворить их.

Камилл много путешествовал – был в Греции, в Италии, на Востоке, в Америке, и беседа с ним могла бы доставить для любознательного Коломбо истинное наслаждение. Но Камилл путешествовал не как ученый или артист, и даже не как обыкновенный путешественник. Он бывал всюду как птица, и каждый новый ветер сдувал с его крыльев те пылинки, которые на них попадали в той стране, из которой он улетал.

Была только одна вещь, которая занимала его по всюду – красота женщины, которая ослепляла, поражала и увлекала его во всех странах. Камилл был человек скорее чувственный, чем впечатлительный; наслаждение скользило по его телу, не проникая до сердца. Он отдавался счастью, сладострастью и любви совершенно так, как другие люди принимают ванну. Он пользовался ими дольше или короче, смотря по тому, насколько они ему нравились.

Оказывалось, что он готов был отдать все огромные девственные леса, все озера, саванны и прерии, всю Грецию с ее руинами, весь Иерусалим со всеми его воспоминаниями, весь Нил с его тысячью городов за один поцелуй хорошенькой девушки, которая ему встречалась.

Напрасно силился Коломбо с упорством, доказывавшим только его собственную наивность, заставить Камилла говорить серьезно, с той пластичностью, которая свойственна рассказу очевидца. На минуту он покорялся, говорил красноречиво и поэтично, но переносило ли его воображение на берега Огайо или в великую низменность Нила, перед ним вставал образ краснокожей красавицы или черноокой гречанки, и серьезная сторона рассказа рассеивалась, как дым.

Однажды они разговорились о Греции, которая больше всего интересовала молодого бретонца. Коломбо вынужден был выслушать историю любви Камилла к одной девушке в Дарданеллах.

Наконец бретонец заговорил об Афинах и просил своего легкомысленного друга рассказать о том впечатлении, которое произвели на него древние развалины, составлявшие для них предмет поэтического восторга еще на школьной скамье.

– Ах, ты говоришь об Афинах? – спросил Камилл.

– Да, я хочу, чтобы ты сказал мне, какое они произвели на тебя впечатление.

– Впечатление? Да черт знает! Не знаю, что и сказать.

– Как не знаешь?

– Да так... Ну, видал ты Монмартр? Так и Афины стоят на такой же возвышенности с той только разницей, что ниже их расстилается Пирей.

Весь характер и весь склад ума Камилла сказался в одном этом описании Афин. К самым серьезным сторонам дела он относился с точно такой же небрежностью и легкомыслием. Но иногда у этого же странного человека оказывались неистощимые сокровища воспоминаний.

Однажды утром Коломбо, разыгрывавший при нем роль разума, сказал ему:

– Послушай, Камилл, ведь нельзя же жить, всю жизнь ничего не делая. Ну, веселись и наслаждайся, насколько выдержит здоровье, но ведь невозможно же сделать из этого цель жизни, потому что цель эта заключается в труде. Надо же приняться за какое-нибудь дело. Ведь работа даже увеличивает прелести наслаждения. Кроме того, и состояние твое вовсе не так велико, чтобы оно оказалось для тебя достаточным, когда ты женишься и обзаведешься семьей. Если же ты смолоду привыкнешь к праздности, то никогда не исправишься и никогда не будешь мил никому, потому что каждый час, в который ты ничего не сделаешь, увеличивает

долю труда для остальных. Будь ты человек ограниченный, без воображения, я, может быть, даже не стал бы тебе говорить всего этого; но ты, наоборот, чрезвычайно талантлив. Чем ты можешь заняться? Этого я еще и сам не знаю, и мы можем обсудить это, когда вздумается; но я считаю тебя способным ко всякого рода деятельности, как научной, так и художественной. Ты можешь быть и хорошим адвокатом, и доктором, и даже композитором, по тому что у тебя есть несомненный талант к музыке. У меня сохранились вещи, которые ты писал в школе. С тех пор прошло пять лет, а они и теперь поражают меня свежестью и оригинальностью своих мотивов. Так, ради бога, избери себе какое-нибудь дело! Ну, изучай законы или медицину, сделайся ученым или артистом, но непременно сделайся кем-нибудь! Я не знаю, что тебе советовать, не знаю даже твоих теперешних вкусов, так как мы давно не видались; но, поверь мне, лучше делать даже дело, которое тебе не по душе, чем не делать ничего вовсе.

– Хорошо, я об этом подумаю, – сказал Камилл, которому, казалось, хотелось думать ровно столько же, как и повеситься.

– Если бы я был уверен, что я настолько же дорог для тебя, как ты для меня, то сказал бы тебе, что если ты не изберешь себе деятельности, то лишишься моей дружбы. Брат Доминик называет людей, которые ничего не делают, бесчестными, и он, по-моему, прав.

– Хорошо, хорошо! Дело будет выбрано и сделано! – сказал Камилл не то весело, не то серьезно. – Я уж и сам об этом думал, хотя ничего не говорил. Каждый вечер, когда я раздеваюсь, то непременно размышляю о том, почему мои подтяжки, которые я всегда надеваю по утрам очень аккуратно, к вечеру скручиваются, как веревки. Ты сам понимаешь, что усовершенствование производства подтяжек составляет дело очень серьезное и важное.

Коломбо вздохнул.

– Послушай, Коломбо, если ты так вздыхаешь из-за невинной шутки, то что же станешь ты делать при несчастье? Говорю тебе: завтра я записываюсь в школу правоведения, покупаю свод законов и приказываю переплести его в шагрень для того, чтобы он гармонировал с мебелью, которую ты мне завел.

– Ах, Камилл, Камилл! – вскричал Коломбо, покачивая головой. – Ты приводишь меня в отчаяние! Я просто теряю надежду, что ты когда-нибудь станешь серьезным человеком!

Камилл сообразил, что пора перевести разговор на другой предмет, а иначе он грозил сделаться серьезным, а значит, и скучным.

– Гм! – сказал он, – ты боишься, что я никогда не сделаюсь человеком, настоящим мужчиной? Ну, так могу тебя успокоить тем, что прачка твоя этого вовсе не опасается.

Коломбо взглянул на него с таким удивлением, с каким посмотрел бы на человека, который среди разговора вдруг перешел с ним на совершенно неизвестный ему язык.

– Моя прачка? – переспросил он почти испуганно.

– Да, голубчик, теперь нечего увертываться! – про должал Камилл. – Ты ведь не сказал мне о ней ничего! Так позвольте мне, господин доктор, господин ученый, господин Сен-Жером, сообщить вам, что я знаю, что у вас есть прачка, которой всего восемнадцать лет и которую за поразительную красоту прозвали княгиней де Ванвр и царицей Ми-Карем. И вдруг к вам приезжает старый друг со всей неистощимой жадой жизни, которую он мог почерпнуть в могучих девственных лесах Америки, а вы нарушаете даже основное правило гостеприимства, скрывая от него ваши лучшие сокровища!

– Хочешь верь мне, хочешь – не верь, но я едва знаю в лицо мою прачку! – наивно вскричал Коломбо.

– Что? Ты едва знаешь ее в лицо?

– Клянусь тебе!

– Ну, стоит ли после этого бедной девочке иметь прелестнейшее личико, когда молодой двадцатипятилетний человек, на которого она работает целых три года, не обратит на нее не

малейшего внимания?! Я нарочно спросил ее, сколько времени она на тебя стирает, и она ответила мне: «Три года».

– Очень может быть. Зачем же мне было бы менять прачку, если она стирает хорошо?

– Ну, а если она при этом хорошенькая?

– Видишь ли, есть женщины, красота или уродство которых меня вовсе не занимают.

– А! Понимаю вас, господин виконт де Пеноель! Ах ты, аристократ! Значит, Беранже со своей Лизеттой – сиволапый мужик, что-то вроде Камилла Розана! Кто такая была Лизетта, если не прачка Беранже? Положим, что у Беранже есть песня, в которой он говорит, что он неблагородный... Этим и объясняются и Лизетта, и Фретильон, и Сюзон... Но ведь мы – господин Коломбо виконт де Пеноель, черт возьми!

– Что делать, мой милый, но это так.

Камилл с комическим участием воздел руки к небу.

– Как! – вскричал он. – Творец в своей неисчерпаемой благости соединяет все прелести красоты в одном существе перед твоими глазами, а ты, язычник, воображаешь, что у тебя есть дела важнее созерцания этого совершенства! Но пойми же, что если бы покойный Рафаэль относился к Форнарине с таким же презрением, как ты к княгине де Ванвр, то у нас не было бы Сикстинской Мадонны! А кто такая была Форнарина!? Прачка, которая полоскала его белье в Тибре. Не пытайся и отрицать этого! Я сам расспрашивал о ней в гавани Рипетта.

– Ты с ума сошел! – ответил Коломбо, пожимая плечами.

– А можешь ты дать мне слово, что княгиня де Ванвр тебя не интересуется?

– Клянусь тебе в этом честью дворянина.

– Значит, начать ухаживать за этой водяной нимфой не будет значить охотиться на твоих землях?

– Нет, и тысячу раз нет!

– Хорошо. В таком случае слушай внимательно. Я начинаю.

Первая встреча Гильома-Феликса-Камилла де Розана, креола из Луизианы, с ее высочеством Шант-Лиля, княгиней де Ванвр, прачкой вышеназванного княжества. Это было вчера... Если бы я был романистом, то сказал бы, что это случилось вскоре после ослепительно-яркого майского полудня; но при этом я солгал бы, потому что в то время шел дождь. Это тебе известно, потому что ты выходил и брал с собой зонтик. По этой же причине и в виду того, что извозчики встречаются в странах цивилизованных, а отсюда они отстоят весьма далеко, пока ты ходил в училище, я сидел дома. Но на это лишение я вовсе не жалуюсь, потому что в твое отсутствие к нам явилась прачка. Она была мокрая, точно ее облили тем вином, которое мы пивали в школе. Помнишь ты наши тогдашние кутежи?... Да, так вот какая она была мокрая!.. Первое, что мне пришло в голову, когда я ее увидел, было то, что необходимо купить еще один зонтик... Разве я не философ?... Потому что, – размышлял я, – в хорошую погоду зонтики никуда не годятся, а когда идет дождь и двое людей хотят идти каждый в свою сторону, то одного зонтика для двоих оказывается мало.

– Но это дело второстепенное...

– Итак, прачка явилась в твой ковчег, как белая голубка, с той только разницей, что не в конце, а в начале потопа, так что, увидев из окна, как воды, выражаясь языком библейским, «достигали высочайших мест», она очень охотно согласилась на мое предложение остаться и переждать.

Скажи по правде, Коломбо, что бы стал ты делать на моем месте. Только говори откровенно.

– Ну, да уж лучше продолжай рассказывать, проказник! – сказал бретонец, которого против воли забавляла болтовня этой беззаботной птички.

– Насколько я тебя знаю, ты, разумеется, или предо ставил бы прачке совершать свой поход под всеми хлябями небесными, или же, если бы в припадке человеколюбия и предложил

бы ей убежище под своей крышей, то повернулся бы к ней спиной, лишая ее лицемерия твоего прекрасного образа, или принялся бы читать, лишая ее прелестей твоей беседы. Это сделал бы ты под тем неосновательным предлогом, что для господ благородных дворян существует особая порода женщин. А я – ведь я только просто дикарь, а потому и сделал то, что индеец делает в своем вигваме, а араб в своей палатке – я самым тщательным образом исполнил все требования гостеприимства. Мне казалось прежде всего обязательным заставить ее снять косыночку, так как вода текла с нее, как с пружины дождевого зонтика. Без этой благоразумной предосторожности княгиня де Ванвр непременно получила бы насморк, которого бы я себе ни когда не простил!.. Вижу, вижу, ты уже вообразил себе что-нибудь неподходящее! И ошибаешься! Я могу, как Ипполит, сказать, что «самый свет дня не мог быть чище моих тогдашних мыслей». Червоточины в них не было, и я этому очень рад, потому что терпеть не могу червя ков. Повторяю тебе, я сделал это единственно из сострадания и в доказательство этого прибавлю, что, опасаясь адского холода, которым всегда отличается твоя комната, я предложил ей накидку, которая лежала здесь на твоём кресле.

– Ха, ха, ха, думаю, сам господин Тартюф не по ступил бы лучше!

– Это была твоя самая лучшая белая накидка, и я считаю долгом предупредить тебя, что принцесса унесла ее, считая ее своей собственностью.

– Но это опять вещь второстепенная!

– Когда она закуталась, я предложил ей сесть в кресло, но должен сознаться, что она отказалась от этого, не потому, что она, княгиня де Ванвр, считала себя недостойной сесть в присутствии покорнейшего из слуг своих, а потому просто, что она была мокра, как вода, и боялась испортить утрехтский бархат на твоей мебели... По крайней мере, мне это так показалось, судя по тому, как она села рядом со мною на диван, который был в чехле, а потому казался ей в большей безопасности, чем остальная мебель.

Ты, может быть, и можешь отрицать Лизетту, презирать Фретильон и не переваривать Сюзон, но если человек родился между 29 и 33 градусами северной широты, то он уже не может безнаказанно сидеть возле молодой девушки, хотя бы она даже и была прачкой. Понимаете ли, между ними сейчас же устанавливается нечто вроде того, что наш профессор физики в школе называл электрическим током. Ты же, Сократ, не знаешь этих токов, а между тем они вдруг доводят человека до цветущего состояния; во всем теле его порождается дотоле неведомая сила; в мозгу возникают мысли, которые никогда не вошли бы в состав даже и самого увлекательного свода законов.

Вот одна из таких мыслей и побудила меня сказать ей:

– Княгиня, клянусь честью, вы прекрасны!

По всей вероятности, и ей пришло в голову что-нибудь подобное, потому что она покраснела.

А знаешь, женщина никогда не бывает так мила, как тогда, когда она краснеет. Таким образом, княгиня мгновенно сделалась прелестнейшей из княгинь, и у меня уже начинала кружиться голова.

Но твоя накидка, о друг, стала в моем воображении самым тобою. Я не знал твоего отвращения к нимфам и ундидам, побоялся нарушить святость дружбы, и это благородное чувство спасло меня на краю пропасти.

Теперь ты сказал мне, что даже не заметил княгини де Ванвр. Это очень хорошо! Я ведь родом из страны пропастей и не боюсь их. Пусть мне только представится удобный случай, и я брошусь туда, очертя голову!

Коломбо хотел было возражать против этого решения, но Камилл вдруг запел своим чудным тенором:

Лизетта, Лизетточка,

Всегда ты меня обманывала!
А все-таки слава гризеткам!
Выпьем же, Лизочка,
За нашу любовь!

При звуках этого юношеского голоса, который так и хватал за сердце, Коломбо не мог не прийти в восторг и начал аплодировать.

VIII. Дуб и тростник

Этот рассказ о первой встрече Камилла с княгиней де Ванвр дает лучшее представление о его беззаботном и веселом характере, чем это могли бы сделать многие страницы анализа и описаний.

Но эта веселость, в обществе мужчин не всегда лишенная цинизма, производила на серьезного бретонца впечатление визга кошки и трескотни сороки. Камилл всегда начинал с того, что был виноват, и заканчивал тем, что оставался прав.

Тем не менее, было обстоятельство, о которое раз билась даже его настойчивость.

Регулярная монотонная жизнь, которую вел Коломбо, вовсе не составляла идеала Камилла; ему было даже неприятно в этой скромной обстановке. Самая мебель друга производила на него такое же впечатление, как мрачная келья монаха на полного жизненных сил и увлечений юношу.

Однажды, возвратясь домой, Коломбо увидел, что над изголовьем его кровати нарисована мертвая голова, а над нею – две крест-накрест лежащие кости. Вокруг была сделана надпись:

«Коломбо, надо умереть!»

Он, разумеется, даже не содрогнулся при виде этого странного орнамента и оставил его там, куда его поместил Камилл.

Итак, это тихое убежище, которое так нравилось ему, казалось Камиллу чем-то вроде семинарии. Его раздражала и приводила в уныние даже поэтическая могила де ла Вальер, которая навевала на Коломбо такие чудные мечты. Этот символ смерти, заключавший в себе для человека верующего столько утешительного, возмущал его, и он отпускал на его счет самые озлобленные саркастические замечания.

– Право, напрасно ты теперь же не купишь себе места на кладбище, – говорил он Коломбо. – Велел бы обтянуть стены черным сукном и наслаждался бы помещением, которым тебе предстоит пользоваться после смерти.

Раз двадцать предлагал он Коломбо переменить «тюрьму», как он выражался, и переселиться «в Париж» или «хоть в одно из его предместий, вроде улицы Турнон или Дю Бак».

Но Коломбо ни за что не соглашался.

Камилл, по-видимому, уступал, переставал заговаривать о переселении, но не упускал своей цели из виду и постоянно только острил над их монашеским помещением. Несмотря на то, что по натуре он был нетерпелив, встречаясь с препятствием более сильным, чем его воля, он с виду как бы подчинился ему, но на самом деле, как ящерица, искал возможности или пробраться сквозь его тончайшие щели, или подкопаться под его основание. Так и по отношению к Коломбо он всегда пользовался силой и преданностью его дружбы, разыгрывая перед ним слабого и избалованного ребенка. В отношении его квартиры он как бы покорился, но, в сущности, только выжидал удобного случая и продолжал мечтать, как бы выехать с улицы Сен-Жак.

К несчастью для Коломбо, кроме дороговизны квартир в других кварталах, которая заставляла бы его жить не по средствам, кроме того, что этот дом по своей тишине вполне соответствовал потребностям его трудовой жизни, его привязывало к этой местности еще и то, что здесь впервые заговорила в нем любовь.

Опасаясь легкомыслия Камилла, он до сих пор еще не говорил ему о чудной тайне, наполнявшей его сердце, так что тот решительно не понимал, что именно удерживает его в этом уединенном квартале.

Камилл уже несколько раз встречался с Кармелитой, приходил в неистовый восторг от ее красоты и расспрашивал о ней Коломбо. Она все еще носила траур по матери, и это особенно интересовало его.

– У нее умерла мать, – отвечал Коломбо сухо. – Надеюсь, что хоть горе заставит тебя не нарушать ее покоя.

Камилл как бы покорился и больше не заговаривал об этой девушке.

Но однажды, возвратясь из Парижа, как он выражался, он бросился в кресло, закурил сигару и объявил:

– А я был в Люксембургском саду!

– И отлично! – ответил Коломбо.

– И встретил нашу соседку.

– Где это?

– Я шел домой, а она уходила.

Коломбо промолчал.

– У нее был в руках какой-то сверток.

– Что ж в этом интересного?

– Да ты подожди...

– Ну, я жду.

– Я спросил у консьержки, что она понесла.

– Это зачем?

– Затем, чтобы знать.

– А!..

– Она сказала, что то были рубашки.

Коломбо опять промолчал.

– А знаешь, для кого были эти рубашки?

– По всей вероятности, для какого-нибудь магазина.

– Ну, нет, для госпиталей и монастырей.

– Бедная девушка! – прошептал Коломбо.

– Тогда я спросил Марию-Анну...

– Это еще кто такая?

– Да кто же, как не консьержка! Разве ты до сих пор не знал, что ее зовут Марией-Анной?

– Нет.

– Чудак! Три года живет в доме и ничего не знает!

Коломбо сделал такие движения глазами, плечами и ртом, будто хотел сказать:

– А что мне до того, что консьержку зовут Марией-Анной или как-нибудь иначе?

– Впрочем, это в твоем характере, да и не в том теперь дело, – продолжал Камилл. – Я спросил еще у Марии-Анны, сколько может заработать эта девушка на рубашках для больниц и монастырей, и знаешь, что она мне ответила?

– Нет, но, наверно, очень мало.

– По франку за рубашку.

– Боже мой!

– Ну, а как ты думаешь, сколько времени употребляет она на то, чтобы сшить одну такую рубашку?

– Почему же я знаю?

– И то правда! Я забыл, что ты не любопытен! На то, чтобы сшить рубашку, требуется целый день работы и при том работы каторжной, с шести часов утра до десяти вечера, а если

ей захочется заработать еще тридцать су, т. е. ровно столько, чтобы порядочно поесть, то приходится посидеть и ночь.

На лбу у Коломбо выступили крупные капли пота.

– Не правда ли, ведь это просто ужасно? – продолжал Камилл. – Да отвечай же ты, гранитное твое сердце! Разве это возможно, чтобы прекрасные создания божьи должны были вести жизнь рабочего животного?

– Ты совершенно прав, Камилл, – ответил Коломбо, почти настолько же тронутый добротой своего друга, сколько и несчастьем бедной девушки. – Я даже очень рад, что ты так хорошо понял положение несчастных трудящихся женщин, этих святых, искупляющих перед Богом ленность других людей.

– Отлично! Ты это на мой счет прогулялся?? Спасибо!.. Ну, да, впрочем, все равно! Я и сам с тобой совершенно согласен... Это действительно – безобразие! Женщина... женщина, которую Бог создал для счастья человека, для рождения, кормления, воспитания детей... Это чудное существо, состоящее из лепестков розы, аромата всех цветов и капель росы... Это богиня, одна улыбка которой для человека все равно, что луч солнца для природы... И вдруг она наемница монастырей и больниц, и шьет на них рубашки, да еще за один франк в день! За вычетом воскресений и праздников, это не составляет и трехсот франков в год... Значит, чтобы остаться в квартире, в которой жила ее мать, твоя соседка Кармелита... А ты знал, что ее зовут Кармелитой?

– Да, знал.

– Она платит домовладельцу полтора франка, так что на стол, одежду, отопление и освещение ей остается тоже полтора франка в год или сорок сантимов в день. Если же ей понадобится что-нибудь сверх того, она должна просиживать за работой и ночи, что принесет ей, может быть, еще франков пятьдесят. И подумать только, что это такое же существо, как и я! Да еще гораздо лучше меня! И вдруг именно оно осуждено на такие мучения! Но ведь в человечестве справедливости нет и, чтобы изменить это, нужно сделать революцию.

– Кажется, она получает еще франков триста пенсионера.

– А! Неужели! Значит триста франков пенсионера и полтора франка заработанных собственным трудом! И это кажется тебе достаточным, тебе, который получает тысячу двести ливров в год. О, господин филантроп! Вы находите, что четырехсот пятидесяти франков на триста шестьдесят пять и даже триста шестьдесят шесть дней в года високосные достаточно на квартиру, одежду, завтрак, обед и ужин; но, несчастный! Знаешь ли ты, что если бы правительство вынуждено было бы кормить растения, то стоимость кислорода и углекислоты, которые оно издерживало на каждое из них, была бы гораздо выше этой суммы?

– Это верно, – согласился бретонец, который до сих пор никогда не вдумывался в бедственное положение девушки до таких мелочей. – Это верно и чрезвычайно грустно. Я просто не понимаю, как она может сводить концы с концами!

– Не понимаешь! – вскричал Камилл в восторге, что на этот раз оказывался впереди Коломбо. – Не понимаешь! Ну, так я скажу тебе, в чем дело: она работает каждую ночь до трех часов.

– Тебе сказала об этом консьержка?

– Нет, не консьержка. Я сам видел.

– Ты, Камилл?

– Да, я самый, – Камилл де Розан, креол из Луизианы, видел это своими собственными глазами.

– Когда же?

– Да вчера... третьего дня... и все предыдущие ночи...

– Но как же ты видел?

– Думаю, что она не настолько богата, чтобы жечь лампу или свечку, когда она спит, и раз у нее в комнате светло, то ясно, что она еще не ложилась. Ну, а в ее комнате свеча или лампа горит каждый день, или, вернее, ночь, до трех часов.

– Да ведь сам-то ты никогда не засиживаешься до этого часа, так как же это ты видел?

– Это я-то не засиживаюсь? Вот и ошибаешься. На пример, третьего дня была опера, не так ли?

– Да, кажется... Я ведь не знаю.

– О, изверг! Он не знает, по каким дням бывает опера! По понедельникам, по средам и по пятницам, дикарь ты этакий! Третьего дня был понедельник, а следовательно, шла опера.

– Ну, хорошо.

– Да хорошо это или худо, а это было так. И вот, идя из оперы, я встретил одного школьного товарища.

– Нашего?

– А то чьего же?

– Кого это?

– Людовика.

– А! Право, славные люди встречались в нашей школе! Просто удивительно, как скоро мы теряем друг друга из вида.

– Ради бога, не говори об этом! Просто грустно становится, как об этом задумаешься!

– А что он подделывает?

– Занимается медициной. Ведь вы все помешаны на том, чтобы чем-нибудь заниматься.

– Да, и один только ты...

– А! Я так этого и ждал. Ну, теперь ты меня царапнул – и будь доволен! Да, так вот Людовик занимается медициной.

– И, наверно, достигнет больших успехов! Он человек замечательно умный, только, к сожалению, слишком реалист.

– Да, реалист, реалист! Спроси-ка об этом княгиню де Ванвр.

– Так что...

– Да, *ad eventum*... Но оставим эти подробности! Людовик сам придет к тебе. Он живет недалеко, и я дал ему твой адрес.

– Но, болтун ты неисправимый, какое же отношение между Людовиком и...

– И Кармелитой?

– Да, да!

– А вот подожди... слушай дальше. Удивительное это у тебя непонимание развития событий! Кажется, будь ты Тезеем, то перебил бы даже рассказ Терамены на десятом стихе! Да, черт возьми! Если у отца съедает сына чудовище, то ему очень полезно знать, какое оно именно было, потому что, если чудовище было красивое, у него останется хоть то утешение, что он может говорить себе: «Сына моего поглотило чудовище, но чудовище, которое его поглотило, было чудовище красивое»!

– Ты еще помнишь, что я тебя слушаю!

– Еще бы! Ведь в этом и состоит твоя обязанность! Но мне жаль тебя, и я сокращаю. Ты спрашиваешь, какое отношение существует между Людовиком и Карме литой? Хорошо, я скажу тебе, какое. Итак, я встретил Людовика, выходя из Оперы...

– Да знаю, знаю!

– Хорошо, я повторяю. Ну, ты сам, вероятно, пони маешь, что невозможно встретить школьного товарища после трехлетней разлуки и не почувствовать потребности рассказать ему все, что пережил за это время и сам и не засыпать его вопросами. Это подробность, которую необходимо привести.

– Это опять подробность?

– Да. А тебе она не понравится, потому что должна будет устыдить тебя.

– В чем же дело?

– А в том, что ты заставил меня третьего дня проголодаться.

– Я?

– Да, и это в понедельник! Правда, что ты и сам этого не знал, а потому я тебя за это и не упрекаю, а просто только рассказываю тебе, что в понедельник ты посадил меня на пищу Св. Антония, так как заказал поросенка, а нам подали яиц вкрутую, каковой метаморфозы ты, по свойственной тебе рассеянности, вовсе не заметил, а я, между тем, был голоден и нашел необходимым подкрепить свои угасавшие силы крылышком цыпленка в присутствии Людовика. Право не знаю, был ли цыпленок предлогом для разговора или, наоборот, разговор был предлогом для того, чтобы съесть цыпленка, но должен констатировать только то, что разговор тянулся гораздо дольше, чем цыпленок, так что я пришел домой около трех часов. Взглянув на небо, скорее, от нечего делать, чем из желания узнать, какая будет на утро погода, я заметил сквозь штору нашей соседки тусклый свет рабочей лампы, а сегодня, когда встретил ее со свертком, то единственно из чувства человеколюбия расспросил о ней Марию-Анну. Все то, что Мария-Анна мне сказала, тебе уже известно. Бедная девушка!

– Да, действительно! – подтвердил Коломбо. – Она даже несчастнее, чем ты думаешь, Камилл. После смерти матери у нее не осталось ни одного родственника на всем свете.

– Это просто ужасно! – вскричал Камилл. – И как это ты живешь с ней бок о бок чуть не целый год и не побеспокоился даже познакомиться с нею!

– Нет, познакомился! – со вздохом возразил бретонец. – Даже несколько раз разговаривал с нею.

Очень может быть, что в эту минуту Коломбо рассказал бы Камиллу все, если бы тот вдруг не отпустил одну из тех фраз, которые всегда заставляли Коломбо держаться настороже.

– А, скрытый бретонец! – вскричал он. – Ты уже разговаривал с нею, а мне даже не намекнул об этом разговоре! Так ты, значит, начинаешь изменять той правде, из которой твои предки сделали себе привилегию на том основании, что головы у них тупые, а лбы крепкие! Да, впрочем, и то сказать – твоя скромность относительно княгини де Ванвр должна была навести меня на кое-какое раздумье! Ну, так я помирюсь с тобой после этого только с одним условием, чтобы ты рассказал мне всю эту пастораль до мельчайших подробностей, не исключая и риторических украшений. Я совсем не ты и люблю рассказы длинные! Закуриваю сигару и слушаю! Начинай, Коломбо! Ведь ты рассказывать мастер.

– Да могу тебя уверить, что в нашем разговоре ни чего для тебя интересного не было, – возразил смущенный Коломбо.

– А, попался, мой скромнейший!

– Это как?

– Очень просто. Если ты уверяешь, что в нашем разговоре не было ничего интересного для меня, то этим самым даешь мне понять, что в нем была бездна интересного для самого себя. Теперь мне остается только попросить тебя как можно точнее и подробнее описать мне, какое значение имел этот разговор для твоего ума, сердца и воображения. Одним словом, по поводу Кармелиты я говорю тебе то же, что говорил по поводу княгини де Ванвр, хотя, – будь в этом уверен, – мне никогда не приходило даже в голову ставить нашу соседку в один разряд с нею. Скажи откровенно: эта красавица-девушка, которая проводит ночи за шитьем рубашек для монастырей и больниц, интересуется тобой или нет? Ответь мне, Коломбо.

Коломбо, увидя себя припертым к стене, положил руку на колено Камилла и кротко и серьезно проговорил:

– Послушай, Камилл, – я расскажу тебе все, как было; но, ради бога, не относись к моей откровенности с твоим обыкновенным легкомыслием и сохрани ее так, как сохранил бы я сам,

если бы не думал, что утаить от тебя хотя бы сокровеннейший уголок моего сердца – значит согрешить против нашей дружбы.

После этого вступления он рассказал Камиллу все то же, что уже рассказывал брату Доминику.

– А что сказал тебе на это монах? – спросил Камилл, когда Коломбо окончил и замолк. Бретонец рассказал ему и это.

– Вот это чудесно! Наконец, монах совсем в моем вкусе! Если бы я был даже родным его сыном, то не пожелал бы лучшего отца! Этот брат Доминик не мог сделать ничего умнее, как ободрить тебя, хотя, откровенно говоря, ты, кажется, ни в каких ободрениях не нуждаешься. Мне всегда казалось, что подкладывать огонь в пылающую паклю – дело совершенно праздное. Единственно, что меня беспокоит, так это то, что я не догадался об этом сам, даже хотя бы по тем наивным причинам, которыми ты оправдывал свое нежелание переселиться из этого квартала. Однако ты хорошо сделал, что предупредил меня, а то я собирался с завтрашнего дня начать кампанию. Но теперь этому не бывать! Возлюбленная моего друга все равно, что жена Цезаря: на нее не должно падать даже подозрение! Положись теперь вполне на мою скромность и скажи мне, что ты намерен делать. Мне кажется, что твое поведение идет как раз в противоположном направлении с твоей страстью. Ты боготворишь, но вперед не подвигаешься.

– А что ты называешь движением вперед? – почти со страхом спросил Коломбо.

– Очень просто! Я называю отступлением все то, что не есть наступление и, между прочим, и то, как ты ведешь себя уже целый месяц со времени моего приезда. Ах, что пришло мне в голову! Ах, я дурак, ах, животное, ах, птица бесперая! Да ведь это мое собственное присутствие тебя стесняло! Я завтра же переезжаю!

– Камилл, неужели ты говоришь это серьезно? – вскричал Коломбо.

– Разумеется, совершенно серьезно! Я не хочу мешать счастью моего единственного друга.

– Да ты ему нисколько не мешаешь.

– Напротив, мешаю самым постыднейшим образом и завтра же поищу себе холостяцкую квартиру.

– Ах, да! Тебе хочется от меня отделаться! Жить со мной тебе надоело, и дружба наша тяготит тебя.

– Но полно, Коломбо, ты начинаешь говорить глупости.

– Так, хорошо же, переселяйся, но и я переселюсь с тобою.

– А! Вот как! Так беги сейчас же к хозяину этого дома и, если мое присутствие тебе не неприятно...

– Ребенок ты! – вскричал добрейший бретонец.

– Да, да, заключу на нас обоих контракт на три, шесть, девять лет... если только, повторяю тебе...

– Камилл, – перебил его Коломбо – я люблю Кармелиту, люблю всеми силами души; но если бы ты сказал мне: «Коломбо, все мои американские владения сгорели, я разорен, мне надо начинать жизнь сначала, но ты видишь, я слаб и мне нужна твоя помощь, сильный сын старой Бретани», – я сейчас же уехал бы без горя, без сожаления, без вздоха, даже без оглядки на ту половину моей жизни, которую оставил бы здесь за собою.

– Я сам уверен, что ты это сделал бы.

Коломбо грустно улыбнулся.

– Разумеется, сделал бы! – подтвердил он.

– Хорошо. Но скажи мне, к чему поведет тебя твоя любовь теперь?

– По всей вероятности, к женитьбе.

– О! Жениться на девочке, которая шьет рубашки для монастыря и лазаретов! Тебе, виконту де Пенюэль, потомку Роберта Сильного...

- Она дочь офицера. Отец ее был капитаном в Почетном Легионе.
- Да, из военного дворянства. Ну, да все равно! Если тебе это нравится, и отец твой ничего против этого не имеет, так и возражать тут нечего.
- Отец мой согласится на все ради счастья единственного своего сына.
- Так отчего же ты теперь же не начинаешь переговоров?
- Да, во-первых, я еще не знаю, любит ли меня Кармелита.
- Кроме того, тебе хочется прежде чем вступить на тернистую стезю, называемую браком, насладиться свободным воздухом любви. Отлично! Я вполне понимаю такую утонченность! Но скажи, пожалуйста, ведь не будешь же ты тянуть этого дела до тех пор, пока несчастная девушка погубит себе зрение?
- А что же мне делать, Камилл? Разве я достаточно богат, чтобы помогать ей? Да будь я даже миллионером – еще вопрос, согласилась бы она под каким бы то ни было видом принять от меня помощь.
- Ну, помощи она, может быть, и не примет, но от работы, верно, не откажется.
- Да какую я найду ей работу?
- О, как ты наивен, мой милый!
- Да говори скорее, как – тут ведь дело не во мне!
- Один из моих друзей в колонии поручил мне выслать ему шесть дюжин рубашек – половину из голландского полотна, половину из батиста. На этих днях я купил все материалы, и их принесут сюда сегодня вечером или завтра утром. Друг, который дал мне это поручение, назначил приблизительную цену на рубашки – франков по двадцати пяти каждая. На мужскую же рубашку идет три метра двадцать пять сантиметров полотна, что стоит шестнадцать франков двадцать пять сантимов. Значит, восемь франков двадцать пять сантимов остаются за работу. Ну, так вот мы и передадим это дело нашей соседке, так что вместо одного франка за рубашку она станет получать восемь. Понял?
- Нет, она наверно не согласится! – заметил Коломбо, покачав головою.
- Это почему?
- Потому что она подумает, будто это только выдумка, чтобы помочь ей. Она ведь знает цену работе, и когда мы заговорим о сказочной сумме, которую ты предлагаешь, она откажется.
- Ах, какой ты упрямый и мнительный бретонец! Да с чего ж станет она отказываться от платы, которую с меня берут в любом магазине? Я покажу ей мои счета.
- Да, в таком случае, это дело, может быть, уладится, и я очень тебе благодарен за то, что ты его придумал.
- Ну, так и переговоры с ней сегодня вечером.
- Хорошо, я подумаю.
- При этом подумай также, что шитье рубашек не дает положения в свете. Я ведь уж многое знаю из дела. Может быть, она станет смеяться надо мною, но я многое видел, хоть и не внимательно смотрю. Я знаю, что близко то время, когда машина будет делать в один день столько, сколько сотне швей не сделать в неделю. Взгляни хоть на индийские кашемиры и шали. Для того чтобы соткать одну шаль, над нею трудится вся деревня в течение полугода, тогда как лионские ткачи выделывают ее всего в один день. Следовательно, для Кармелиты необходимо приискать такое занятие, которое, в случае если граф де Пеноэль не позволит своему сыну жениться на белошвейке, могло бы гарантировать ее существование.
- Коломбо смотрел на Камилла со слезами на глазах.
- Я никогда не видел тебя таким серьезным, добрым и рассудительным, – сказал он. – Благодарю тебя, потому что знаю, что тебя воодушевляет наша дружба.
- Но Камилл как бы не обратил на эти ласковые слова ни малейшего внимания.
- Ты, кажется, говорил мне, что она любит музыку? – продолжал он.
- Страшно любит! И даже, кажется, сама недурно играет.

- Ты слышал, как она поет или играет?
- Нет, никогда. У бедняжки нет инструмента.
- Ну, так надо завести.
- Это каким же образом?
- Я еще и сам не знаю, но говорю тебе, что инструмент у нее будет.
- Вот ты и всегда так, Камилл, – сейчас же заходишь слишком далеко.
- Нет, на этот раз, чтобы доставить ей инструмент, я не только не пойду далеко, но даже не встану с места: мы отдадим ей твой.
- Как это мой?
- Очень просто.
- Да ведь это какие-то цимбалы.
- Вот именно поэтому его и следует отдать.
- Как, ей – этакую дрянь! Ну, что это?!
- О, до чего ты глуп, мой милый!
- Мерси!
- Ну, прости, это только дружеское замечание... Но, да пойми же ты, наконец!.. Я тебе тысячу раз повторял, что терпеть не могу твой инструмент и что он для меня слишком высок... А какой у нее голос?
- Контральто.
- Ну и отлично! У тебя баритон, – мы переменим твой инструмент. Я отложу пятьсот франков, и у тебя будет чудеснейший рояль. Это ведь не дождевой зонтик, и им очень свободно могут пользоваться двое и даже трое.
- Но, Камилл...
- Да это уже сделано, – рояль куплен и завтра его принесут сюда.
- Ведь ты врешь, Камилл?
- Нет, не вру, – это именно так и есть, как я имел честь тебе доложить. Я хотел устроить тебе этот сюрприз к твоим именинам; однако так как они уже прошли, то я отложил его до дня твоего рождения; но так как рождение твое не наступило, а мне все-таки надоело возиться с инструментом, который для меня слишком высок, то я и сделаю тебе этот подарок завтра, т. е. ко дню рождения твоего отца, дяди, тетки или кого-нибудь из кузенов... Ну, да, черт возьми! Ведь мог же кто-нибудь из твоих родных родиться завтра.
- О, Камилл! – вскричал до слез тронутый бретонец. – Благодарю, благодарю тебя!

IX. Жемчужина Парижа

Камилл вскоре в точности исполнил все, что задумал и обещал Коломбо.

Кармелита, просмотрев счета молодого щеголя, не от казалась принять плату, которую он ей предлагал за рубашки своего заатлантического друга, и с этого дня в ее квартире появились некоторые признаки достатка. Относительно же инструмента она сдалась не так легко, но по настояниям Коломбо, к которому чувствовала дружеское уважение, наконец согласилась.

Она пошла даже еще дальше и стала по очереди брать уроки пения то у Коломбо, то у Камилла.

Кармелита легко и бегло разбирала ноты с первого взгляда; туше² у нее был правильный, приятный; но ее невежество в музыке почти равнялось ее невежеству в любви.

Она играла, вовсе не понимая ни смысла, ни достоинства исполняемой вещи, что вообще составляет громадный недостаток музыкального образования наших молодых девушек, учившихся в пансионах.

Несмотря на все свои музыкальные способности, Кармелита знала только музыку третьей-степенную, а о прелестях музыки настоящей, серьезной не имела ни малейшего представления. Зато с первого же объяснения своих учителей по этому поводу она принялась за исправление этого пробела с горячим увлечением. Для нее это казалось целым откровением.

Но между ее учителями скоро завязалась борьба.

Коломбо, серьезный и вдумчивый, как немец, да еще сверх того и ученик Мюллера, находил осуществление всех своих идей и мыслей в музыке немецкой.

Но Камилл, живой и легкомысленный, как неаполитанец, признавал музыку только итальянскую.

В их музыкальных вкусах сказывалась та же разница, которая существовала и в их характерах.

Вследствие этого относительно музыкального образования Кармелиты между ними возникали частые споры.

– Немецкая музыка заставляет все человеческие страсти перелиться в звуки, – говорил Коломбо.

– А музыка итальянская – это мечта, принявшая осязательные формы, – кричал Камилл.

– Немецкая музыка глубока и печальна, как Рейн, текущий между сумрачными елями и скалами, – говорил Коломбо.

– А музыка итальянская весела и эфирна, как Средиземное море, ласкающееся к берегу, поросшему розами, миртами и лаврами, – противопоставлял ему Камилл.

Такого рода стычки, вероятно, продолжались бы до бесконечности, если бы благоразумный бретонец не предложил некоторого рода сделку.

Он устроил так, что Кармелита изучала попеременно то Бетховена, то Чимарозу, то Моцарта, то Россини, то Вебера, то Беллини.

Эти два пути были, разумеется, различны, но, в конце концов, вели к одной и той же цели.

Через три месяца Кармелита уже с замечательным мастерством пела со своими учителями трио.

С этого дня в дом ее вступило счастье, как три месяца тому назад в нем появилось благосостояние.

Почти каждый вечер молодые люди сходились в гостиной Кармелиты, в которой находчивый Камилл велел однажды во время ее отсутствия переменить обои, чтобы хоть несколько

² Туше – свойственная каждому пианисту манера удара по фортепьянному клавишу, придающая оттенок извлекаемому звуку.

отогнать от нее воспоминание о том, что здесь умерла ее мать. Обыкновенно они приходили часов в семь и засиживались до двенадцати, и надивиться не могли, как скоро проходит время.

Коломбо, у которого был прекрасный баритон, с замечательным пониманием пел вещи то Моцарта или Вебера, то Мегюля или Грэтри.

У Камилла был тенор – чистый, звонкий, нежный и свежий, как у серафима, когда он пел арию Иосифа:

«Поля родные! Хеврона мирная долина»! —

в выражении его было столько глубокой нежности, что ни Коломбо, ни Кармелита не могли слушать его без слез.

До сих пор Кармелита никак не решалась петь одна и даже дуэты пела застенчиво.

Голос у нее был поразительно сильный. В некоторых минорных пассажах из этого почти детского рта выходили звуки, подобные трубе в оркестре, играющем похоронный марш. В других местах этот голос звучал, как переливы виолончели. По временам же он доходил до нежности флейты и мечтательной тоскливости эоловой арфы.

Друзья слушали ее всегда с восторгом, и Камилл, который прежде не пропускал ни одного представления в опере, перестал там бывать с тех самых пор, как в первый раз услышал свою ученицу, которую прозвал «*La gemma di Pargi*», т. е. жемчужиной Парижа.

Обоих учителей удивляли поразительные быстрые успехи, которые делала Кармелита с каждым днем.

В один вечер она вдруг пропела им всю партитуру Дон Жуана, которую они принесли ей только накануне. Память ее была поистине уникальная! Стоило ей прослушать вещь только один-единственный раз, и, четверть часа спустя, она повторяла ее целиком с безукоризненной точностью.

У Коломбо была целая библиотека немецких композиторов, но через несколько месяцев Кармелита знала ее всю наизусть. Тогда Камилл взялся быть поставщиком нот для юного филармонического общества и перерыл все магазины, разыскивая своих любимых авторов, творения которых Коломбо презрительно называл латинской стряпней.

Кармелита с жадностью изучала все, что попадалось под руку, и так как пение всегда связывалось у ней с игрой, то скоро из нее вышла не только прекрасная певица, но еще и замечательно талантливая пианистка.

В течение всего вечера они поочередно пели или слушали друг друга. Но после каждой вещи Камилл делал свои замечания, и выходки его были, по большей части, так забавны, что вызывали неудержимый хохот. Иногда он принимался рассказывать какое-нибудь приключение из своих путешествий, но передавал свои похождения в самой скромной и целомудренной форме.

Коломбо чрезвычайно поражало то обстоятельство, что этот легкомысленный человек, который в разговорах с ним ясно доказывал, что побывал в Италии, Греции, Малой Азии и в Египте, как перелетная птица, ничего не видя, не понимая и не помня, рассказывая о тех же странах Кармелите, оказывался и ученым, и художником, и поэтом. Он говорил то о своих розысках среди руин, то о прогулках по берегам озер в светлые лунные ночи, то о бивуаках среди безбрежных пустынь или среди девственных лесов. В эти минуты он становился совершенно другим человеком. В нем вдруг появлялись и увлечение, и страсть, и красноречие, и откровенность.

Коломбо был буквально ослеплен этой переменой. Приятель, которого он знал столько лет, вдруг являлся перед ним в совершенно ином свете. Это был вовсе не легкомысленный и ветреный мальчишка, а чрезвычайно обаятельный и окончательно сложившийся мужчина, в

котором с поразительным изяществом сочетался лоск светского человека с капризным авантюризмом художника.

Кто же совершил это чудо? Коломбо этого не знал, да и никогда не задавал себе этого вопроса.

А, между тем, причина этой перемены была почти очевидна.

Случалось ли вам видеть павлина, когда он одиноко расхаживает по гребню крыши? Он, бесспорно, красив и тогда, но сколько апатии и уныния во всей его фигуре! Но стоит ему хотя бы издали завидеть паву, он мгновенно преображается и красиво распускает свой цветистый хвост.

Точно так же сверкал цветами своих знаний, красноречия и поэзии и Камилл перед Кармелитой.

Проживи он с Коломбо хоть сотню лет, то ради одной дружбы никогда не дал бы себе труда развернуть все свои способности и достоинства сразу.

Но тому незримому божку, который парит над голой каждой молодой девушки, Камилл был готов приносить всевозможные жертвы из сокровищниц своей памяти, воображения и находчивости.

С двумя старыми друзьями случается то же, что с мужем и женой. Они вовсе не находят нужным стараться нравиться друг другу. Но стоит появиться между ними третьему лицу, – и разговор оживает, точно между двумя немymi, к которым вдруг возвратилась способность говорить.

Но честный Коломбо приписывал странность перемены, произошедшей в Камилле, единственно капризному и не ровному характеру своего юного любимца.

Что касается Кармелиты, которая провела детство и юность в строгом институте Сен-Дени, потом сделалась сиделкой больной матери и, наконец, пережила ее потерю, то тоска и скука были безысходным гнетом ее жизни, а серьезный бретонец, сам того не замечая, да незаметно и для молодой девушки, только продолжал те серьезные уроки, которые она заучивала в институте.

И если бы теперь кто-нибудь задал ее сердцу откровенный вопрос, кто из этих двоих молодых людей нравится ей больше, она, наверно, инстинктивно, по естественному влечению, не задумываясь, указала бы на Коломбо.

Его серьезный характер не только не отталкивал, но, напротив, привлекал ее, а суждения их о предметах были всегда почти одинаковы.

Личность же Камилла была яркой противоположностью ее собственной. Его живость тревожила ее; его легкомыслие ее возмущало; она была способна бранить его, как бранит младшего школьника, брата, старшая сестра; потому, что ее твердый, решительный характер позволял ей оказывать на Камилла то же влияние, какое имел на него еще со школьной скамьи Коломбо. Она относилась к нему скорее со снисходительностью, которую испытывают к детям, чем с нежностью, которую способен внушить молодой человек.

Если она сидела и работала или просто хотела быть одна, а в это время входил Камилл, она, несколько не стесняясь, говорила ему:

– Ступайте, Камилл, вы мне мешаете.

Никогда не позволила бы она себе сказать что-нибудь подобное Коломбо.

Впрочем, он никогда и не стеснял ее.

Но, в конце концов, вышло то, что Кармелита стала сама сбиваться в своих собственных чувствах, – стала принимать фамильярность, установившуюся между нею и Камиллом, за привязанность, а почтительную и серьезную любовь, которая жила в ее сердце к Коломбо, за страх.

Казалось, что Коломбо удерживает ее, а Камилл увлекает.

Коломбо любил ее, а Камилл соблазнял.

Ребенок понимает жизнь не иначе, как бесконечную гирлянду цветов, среди которых самый яркий и есть самый лучший. Молодой же девушке любовь представляется землей обетованной, среди которой она будет обрывать цветки венка своих девических мечтаний.

Жизнь с Коломбо была бы ежедневным разумным трудом, жизнь же с Камиллом непрерывным странствованием в странах, изукрашенных всеми творениями фантазии.

Если Кармелите хотелось разучить какую-нибудь арию, о которой говорили вечером, Коломбо говорил ей:

– Хорошо, я доставлю вам ноты завтра же.

Но Камилл, любивший исполнять чужие желания с такой же живостью, как и свои собственные, тотчас же вскакивал и, хотя бы была полночь, хотя бы шел дождь, магазины были закрыты, а книгопродавцы спали, летел к магазину, стучал до тех пор, пока ему не отопрут, платил за беспокойство тройные деньги и возвращался с нотами.

Один раз, когда они втроем гуляли в Люксембургском саду, Кармелита как-то совершенно вскользь выразила желание иметь несколько цветков розового каштанника.

– У меня есть один знакомый садовник. Когда вернемся домой, я схожу к нему и принесу вам их хоть целую охапку, – сказал Коломбо.

Но Камилл, ловкий и легкий, как мотылек, не обращая внимания на замечание Коломбо, что они в общественном саду, в несколько секунд очутился на дереве, отломил целую ветку, усыпанную цветами, и с торжеством возвратился на дорожку так, что его не заметил ни один из сторожей.

Вообще, если бы на руку Камилла взглянул хиромант, то, вероятно, был бы поражен прямизной и чистотой линии счастья на его ладони. Это было, действительно, поразительное сочетание везения и смелости.

Эта и ей подобные выходки очень располагали Кармелиту в пользу Камилла и даже заставляли ее восхищаться им.

Даже Коломбо заметил, наконец, ту симпатию, которую креол вызывал у Кармелиты.

– Что ж? Это очень естественно, – думал он, сначала совершенно спокойно, – он хорош собой, изящен, блестящ, а я... Что во мне? Одна тоска да сила.

Но мало-помалу лицо его начинало омрачаться, в сердце зародилась боль.

– Господи, – думал он, – зачем сделал ты меня в двадцать лет серьезным и строгим, подобно старику? Что за скучным супругом буду я для семнадцатилетней девушки, все вкусы которой будут крайней противоположностью с моими! А между тем, все доказывает мне, что я мог бы составить счастье Кармелиты и что у меня хватило бы на это и воли, и силы, и умения.

Он смотрел на эту веселую пару, и ему начинало казаться, что окружавшие их ореолы счастья и молодости начинают сливаться в один ореол любви.

Он грустно покачивал головою, бледнел и держался в тени, а Камилл и Кармелита, залитые светом, продолжали свою веселую и беспечную болтовню.

– Напрасно обманываешь себя, – продолжал размышлять бретонец, – они любят друг друга! Да, это и естественно, – они точно созданы именно один для другого... А я мечтал о совсем другой будущности для этой девушки!.. Милая Кармелита!.. Я сделал бы из нее знатную и гордую графиню, а Камилл устроит ее лучше, чем я, – он сделает ее счастливой женщиной...

С этого времени Коломбо, несмотря на все терзания тоски и ревности, решил уступить Камиллу сокровище, которое берег для себя с такой тайной любовью.

В один вечер Камилл и Кармелита с особенным увлечением пели страстные дуэты, низко наклоняясь друг к другу. Когда пение окончилось и молодые люди пошли к себе, Коломбо положил руку на плечо Камилла.

– Камилл, ты любишь Кармелиту? – проговорил он.

На глазах его стояли слезы, грудь бурно вздымалась.

– Я? – вскричал Камилл и вспыхнул. – Да клянусь тебе...

– Не клянись и выслушай меня, – продолжал Коломбо. – Может быть, ты еще и сам не сознаешь своей любви, но она уже есть в тебе.

– Но Кармелита?.. – проговорил Камилл.

– Я ее об этом не спрашивал, – перебил его Коломбо. – Да и к чему это? Я ведь и так вижу ее сердце. Отношу к вашей чести, что боролись вы оба долго, но влекло вас друг к другу против вашей собственной воли... Ну, так вот что я предлагаю...

– Нет, нет, Коломбо! – вскричал Камилл, – лучше дай мне сначала высказать мой проект. Уж слишком давно я только все получаю от тебя, ничего тебе не давая, пользуясь твоей преданностью безвозмездно! Может быть, ты и прав. Да, я признаюсь, что способен полюбить Кармелиту и изменить нашей дружбе с тобой. Но, клянусь тебе, Коломбо, до сих пор я не говорил ей об этой любви ни одного слова, и до этой минуты, когда ты сам заговорил о ней, я не признавался в ней даже самому себе... Это первая вина, которую я сделал в отношении тебя. Но, повторяю тебе, я сам не замечал этого, не сознавал, как, спускаясь по склону дружбы, дошел до страстной любви. Ты заметил это раньше меня, и – благодарю тебя – ты сам сказал мне об этом, – тем лучше! Время еще не ушло! Да, да, мой честный Коломбо, я был готов полюбить Кармелиту, но теперь эта любовь наводит на меня такой ужас, будто Кармелита жена моего родного брата. Слушая тебя, я заглянул в мое собственное сердце, увидел разверзающуюся там пропасть и решил завтра же уехать.

– Камилл!

– Да, я уеду! Я поставлю между собою и своей страстью непреодолимую преграду, уеду за море и поселюсь в Шотландии или в Англии, оставлю и Париж, и Кармелиту, и даже тебя самого.

Он зарыдал и бросился на диван.

Коломбо стоял перед ним молчаливый и твердый, как скалы его родины, о которые уже шесть тысяч лет бесплодно хлещут морские волны.

– Благодарю тебя за твое великодушное намерение, – заговорил он наконец. – Я нахожу это величайшей жертвой, какую ты только мог мне принести. Но теперь это уже слишком поздно, Камилл.

– Как поздно? – с удивлением спросил креол, поднимая свое залитое слезами лицо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.